АЛЕКСАНДР БАХРАХ

# БУНИН

## в Халате

ЗПП

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

# БУНИН в Халате

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

Товарищество Зарубежных Писателей
1979 США

A. Bacherac

BUNIN IN HOUSE ROBE



Printed in U.S.A.

Многие из помещенных в этой книге очерков и заметок были напечатаны – в альманахе "Мосты", в "Новом журнале" и в газетах "Русская мысль" /Париж/ и "Новое русское слово /Нью-Йорк/. Все эти тексты просмотрены и заново отредактированы автором, кроме того, часть добавлена новых, нигде прежде не напечатанных.

Обложка работы художника С. Голлербаха

Адрес издательства:

G. Homjakow
39 Drake Drive, Bayville, N.J. 08721, U.S.A.



Апрель 1927 г.
Париж

# I

В моей старой записной книжке, которую я считал утерянной, но затем случайно обнаружил в погребе среди всевозможных пожелтевших бумаг, я наткнулся на запись, сделанную мной в Ницце поздней осенью 1941-го года. Во время разговора о современной русской литературе Андре Жид, с которым в тот период моей жизни я часто встречался, при упоминании имени Бунина, сказал: "Да, вы не отдаете себе отчета в том, какой у вас крупный современник".

Хотя эти слова Жида я в тот же вечер записал, но должен признаться, что в тот момент я, собственно, не обратил на них достаточно внимания. Только много лет спустя, когда давно ушли в небытие и тот, кто эти слова произнес и тот, к кому они относились, перечитывая мою запись, я невольно понял, насколько Андре Жид был прав, насколько он – иностранец, ознакомившийся только с незначительной частью бунинского творчества, был проницателен.

Что и говорить, те "вы", к которым были обращены слова Жида, жили ли они за рубежом или обитали в Советском Союзе, Бунина, конечно, недооценивали. Говорится, что "нет пророка в своем отечестве". Это – непререкаемая истина. Но по отношению к Бунину-писателю было несомненно еще много внелитературного, постороннего и наносного, тормозившего его подлинное признание, объективную оценку его творчества, его популярность. Здесь – в эмиграции – непрекращающаяся "мышья беготня" в каком-то смысле всегда неустойчивого быта. Там... – едва ли надлежит уточнять, что в те годы могло препятствовать проникновению его книг в читательскую массу. Словом, виноват был роковой ход истории, сделавший лауреата нобелевской премии, Бунина, по существу писателем

с посмертной славой. Все это только подтверждало правоту и дальновидность скорее ощущений и предчувствий, нежели критических оценок Андре Жида.

А ведь, действительно, здесь почти уместно вспомнить слова, сказанные Чеховым в разговоре с Иваном Алексеевичем. Говорили они о литературе и, конечно, в первую очередь о Толстом, который незадолго перед тем перенес очень тяжелую болезнь и находился в Гаспре.

– Вот умрет Толстой, все пойдет к черту, – не переставал повторять Чехов.

– Литература?

– И литература.

Бунин, записывая эти слова, от себя добавил: "Тут Чехов ошибался, литература уже начала идти "прахом" и при жизни Толстого".

Но вот примерно четверть века тому назад умер Бунин и та классическая линия русской литературы, которую он с таким достоинством представлял и о которой так картинно писал Поль Валери, как о "русском чуде", прервалась. В известной мере он, действительно, был "последним из могикан". Появлялись, конечно, значительные вещи – было бы нелепо это отрицать – но все в них было как-то упрощено (даже если умышленно усложнялось!), не было ничего равноценного по звучанию, по удельному весу, ничего, что можно было бы поставить на одну полку хотя бы с "Жизнью Арсеньева".

*

Я познакомился с Буниным в Париже в 1923-м году на весьма пышном в эмигрантских условиях балу, ежегодно для пополнения своей кассы устраеваемым "Союзом писателей и журналистов" в ночь под "старый" Новый Год. Отмечу, что такое празднование по грегорианскому календарю отнюдь не вызывалось какими-либо ретроградными убеждениями его устроителей. Дело было много проще: в другие подходящие вечера бальные залы из года в год были заняты другими организациями.

Если память мне не изменяет, представил меня Ивану Алексеевичу, еще сравнительно молодому и молодцеватому, такому в своем смокинге представительному, с

внешностью, напоминающей римского патриция, Борис Зайцев. Но "сближение" (намеренно ставлю это слово в кавычки) с ним произошло почти тотчас же. Это было облегчено тем, что Бунины были хорошо знакомы со старшим поколением моего семейства и его дружеское ко мне отношение я получил, так сказать, "по наследству".

Я не могу вспомнить толком, как и под какими предлогами я стал "захаживать" к нему на дом, на ту самую неуютную и едва ли не умышленно неприглядную квартиру на улице Оффенбаха, в которой он и скончался тридцать лет спустя. Иной раз он просил меня заглянуть к нему, чтобы написать письмо какому-нибудь переводчику или иностранному литературному агенту, в другой, чтобы сообща с Верой Николаевной обсудить технические детали предстоящего литературного чтения, уточнить щепетильный вопрос о том, как распространять билеты на этот вечер и составить "проскрипционные" списки, то-есть, списки потенциальных "меценатов", которым эти билеты предстояло – и тут не будет большого преувеличения – "навязывать". Дело было сложное и требовавшее большого дипломатического такта: ведь, упаси Боже, если одному и тому же лицу билеты будут предложены несколькими из тех любвеобильных дам, которые свое "хождение по мукам" (иначе их самопожертвования и не назвать!) приравнивали к причастности к великой русской литературе! А ведь больно подумать – эти "благотворительные" вечера в течение долгих лет были чуть ли не основной статьей в бюджете последнего русского классика.

*

У себя дома Бунин приемов не любил. Роль гостеприимного хозяина была ему не по душе, хотя в ограниченном кругу он эту роль всегда выполнял с блеском и со свойственной ему словесной щедростью сыпал всякими остротами и эпиграммами (как бесконечно досадно, что никто не удосужился их записать). Не раз мне приходилось быть свидетелем того, как он разыгрывал шаржи на знакомых и друзей и, в первую очередь, изображал коллег по перу, всегда метко, иногда зло, никогда не злобно. Актер он был вообще первоклассный и не надо

удивляться тому, что в свое время Станиславский настойчиво предлагал ему включиться в труппу Художественного Театра. Впрочем, в данном случае Станиславский не был тонким психологом – Бунин и театр, Бунин и дисциплина – две "вещи несовместные".

*

Довольно часто мне приходилось также встречаться с Буниным в "нейтральных" местах, то у общих знакомых, то в монпарнасских кафушках, в которых тогда чуть ли не ежевечерне любила сходиться литературная молодежь. Несмотря на разницу лет и положения в литературе (после получения нобелевской премии Бунин, сам над собой посмеиваясь, любил приговаривать –"Я, который объелся славой!"..) хоть и не терпевший фамильярности, все же стремился быть с каждым на равной ноге. На Монпарнассе он старался разыгрывать роль старшего товарища, ухаживать за молодыми (и средних лет!) поэтессами, которые каждое его слово готовы были принять за чистую монету и уже мысленно скакать с ним в Венецию, в силу давней традиции безответственно упоминаемую им для того, чтобы возбудить к себе больше интереса. Благо Венеция в те годы из-за трудности путешествий и всяких виз была "за семью морями", а зато совсем по близости была русская забегаловка и туда за полночь он любил повести очередную Джульетту и опрокинуть в ее компании рюмку-другую водки с горячим пирожком.

Бывали, однако, вечера, когда Бунин неожиданно "вскипал", разозлившись на неугодившее ему какое-нибудь словцо и на следующее утро адресовал своему без вины виноватому "обидчику" пропитанное ядом и не всегда вполне цензурными выражениями письмо. Впрочем, опустив его в почтовый ящик, он сразу же о своем поступке сожалел. Но что было ему делать? Я знавал одного беллетриста – автора преимущественно морских рассказов, "Станюковича здешних мест", который такое бунинское послание застеклил и на видном месте повесил у себя в столовой.

*

Должен тут признаться, что мне необычайно трудно как-либо систематизировать мои воспоминания о Иване Алексеевиче, привести их в логический или хотя бы хронологический порядок. Вероятно, это происходит от того, что даты в моей голове путаются, а воспоминаний накопилось слишком много и у меня такое чувство, что сколько бы я о нем не вспоминал, чего-то очень существенного я не припомнил, что-то основное прозевал, мысленно погнавшись за какими-то мелочами, за тем, что может быть воспринято, как анекдот.

А кроме того, читатели "Жизни Арсеньева" едва ли обратили должное внимание на как бы случайно вкрапленную фразу о том, что "воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них". Мне представляется, что это не только одна из ключевых фраз бунинской книги, но ее никогда не следует упускать из виду, вспоминая Бунина-человека и писателя.

Впрочем... Ведь, чтобы быть логичным, я должен был бы сожалеть о том, что мне неведомы слова той молитвы, на которую ссылается Бунин, потому что воспоминания о нем то и дело проносятся передо мной и тогда не терпится многое занести на бумагу. Сам я плохой судья – может быть, действительно, иной раз эти воспоминания было бы уместнее вытравить из памяти.

Но Бунин – большой русский писатель (я хотел было по-тургеневски написать "писатель земли русской", но не решился...) и мне кажется, что любая памятка о нем, будь то серьезная, будь то пустяковая, необходима для будущего и незачем обходить молчанием некоторые, хотя бы теневые стороны его жизни, разбавлять их розовой водицей и способствовать распространению "легенд". Смешивать литературу с агиографией – дело, как мне кажется, предосудительное. Но, кроме того, вспоминать о Бунине тем полезнее, что порой он сам забывал прошлое, то приукрашал его, сам того не замечая; то сгущал краски, не для того, чтобы кого-то разжалобить, а просто в силу своей художественной натуры, неизменно преображавшей пережитое, может быть, казавшееся ему слишком тусклым. И еще: часто он говорил одному одно, а другому

другое – о том же самом, смотря по настроению. А ведь как-никак кому, как не ему, будет суждено "стать достоянием доцента и критиков новых плодить".

*

Я только что процитировал фразу из "Жизни Арсеньева" и мне тут же хотелось бы еще раз, так сказать, по личному поводу вернуться к этому роману.

*

Еще когда та часть этой книги, которая имеет подзаголовок "Истоки дней", печаталась в "Современных записках", мне случилось на страницах литературного приложения к выходившей тогда в Париже газете Керенского "Дни" написать что-то, вероятно, невразумительное, но что-то, где говорилось об автобиографичности этого первого и единственного бунинского романа.

Это замечание не на шутку рассердило тогда Ивана Алексеевича (хотя позднее он, как я теперь вижу, неоднократно писал об автобиографичности многих толстовских героев) и он обратился с письмом в редакцию "Последних новостей" — письмом, которое, как мне кажется, стоит привести:

*"Недавно критик "Дней", в своей заметке о последней книге "Современных записок", где напечатана вторая часть (а вовсе не "отрывок") "Жизни Арсеньева", назвал "Жизнь Арсеньева" произведением автобиографическим. Позвольте решительно протестовать против этого, как в целях охранения добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть, называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть, обсуждалось не как "Жизнь Арсеньева", а как жизнь Бунина. Может быть, в "Жизни Арсеньева" и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не есть дело критики художественной".* */

*/ В связи с появлением этого "письма в редакцию" Ходасевич прислал неизвестные мне выписки из статьи Андрея Луганова,

Несмотря на известную резкость тона этого "письма в редакцию", на наших личных отношениях мой "проступок" не отразился и, помнится мне, я в письменной форме дал Бунину какие-то туманные объяснения по поводу того, почему я считал себя вправе говорить об автобиографичности "Арсеньева". Ведь – теперь это можно говорить открыто – в этом романе несомненно очень силен автобиографический элемент, как очень сильны – конечно, в художественном преломлении – автобиографические моменты в "Митиной любви", "Генрихе" и других рассказах, входящих в цикл "Темных аллей".

В ответ я получил от Бунина письмо, датированное июнем 1928 года, которое сохранилось в моем архиве. Вот что он писал (мне пришлось, очень неохотно, смягчить некоторые выражения, – те, что почти неизменно попадаются в дружеских посланиях Бунина, и изменить орфографию. Вытравляю то, что Щедрин называл "аттической солью", хотя мне никак не хочется быть обвиненным в стыдливости, присущей гоголевским дамам!):

*"Милый Александр Васильевич,*

*Простите, что так поздно отвечаю Вам. Причина тому моя работа, в которую я всегда залезаю по уши, и то, что... затрудняюсь, как бы это Вам получше сказать, что дело так, да не так. Тон делает музыку. Музыку делают тон и мера, оттенки. И, конечно, Вас в тоне немножко сбил с толку*

---

появившейся в газете "За свободу" еще до моей заметки. Луганов писал: "Не детство Алеши Арсеньева, а мысли о детстве, мысли о чувствованиях маленького Алеши высказывает строго и грустно взрослый Арсеньев-Бунин, так как в романе чувствуется внутренняя автобиографичность". Ходасевич цитировал также статью Айхенвальда, появившуюся после моей заметки. Айхенвальд говорил: "Бунин дает еще и другой ключ к себе в предлагаемой им автобиографии писателя" и далее прошлое Бунина отожествляется с прошлым Арсеньева, память Бунина – с памятью Арсеньева. Ходасевич, впрочем, от себя добавлял: "Я считаю, что Луганов, как и вы, не имели права писать об автобиографичности. Но после того, как Бунин не протестовал против статьи Луганова и против словосочетания Бунин-Арсеньев – вы, пожалуй, могли повторить эту мысль, уже не новую". Каюсь, я до сих пор не решил, совершил ли я тогда "смертный грех" или нет!

*дух Михаила Андреевича, задавшегося целью во что бы то ни стало "оживить" свою "Литературную неделю". Ибо ведь одно сказать: "кажется, в этом есть порядочно автобиографического (хотя и это к чему критику художественному?) и совсем другое: "автобиографическое описание Бунина". Ей-Богу, я ничуть не сержусь на это ядовитое: "описание" (про которое Вы еще не знаете, будет ли в нем художественный толк) – это дело Вашей требовательности и литературных вкусов, взглядов. Но подумайте все-таки: неужели так уж и ничего нет в моем "описании", кроме автобиографии? Мне кажется, что в прочих отзывах все-таки "дело обстоит" иначе. Они все-таки не ставят меня в такое положение, которое заставляло бы меня бояться, что когда я напишу о первом... любовном опыте */ Арсеньева, вдруг напишут: "первый любовный опыт" Бунина был неудачен".*

*А за всем этим бросим все это. Я уже забыл всю эту маленькую историю и жму Вашу руку.*

*Все таки любящий Вас*

*Ив. Бунин*

* * *

Я должен теперь перескочить через десятилетия, отклониться в сторону и описать мое появление в Грассе на бунинской "Жаннетте" поздней осенью сорокового года, такого трагического для Франции, и как этот визит оказался словно внушенным мне моей доброй феей – она, кстати сказать, не раз выручала меня, особенно в военное время.

Трудно, действительно, учесть, как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда, будучи в силу слепого случая демобилизован в Сент-Максиме, одном из курортов средиземноморского побережья, не вздумал "забрести" к Буниным перед тем, как принять дальнейшие решения.

Помимо привязанности к Бунину, этот визит в Грасс был продиктован еще и тем, что пока я был в армии, я вел учащенную переписку с Верой Николаевной. Надо сказать, что ее длинные письма, приходившие по полевой почте, "сектор такой-то", были для меня своего рода праздником и я могу только пожалеть, что мне не удалось сохранить их. Эти письма несомненно представляли бы определенный историко-литературный интерес. В них со свойственной ей

*/ В оригинале не "любовный опыт", а "коитус".

дотошностью, наряду с описанием всяких мелочей и курьезов парижской литературной жизни в первые военные месяцы, неизменно, пускай даже однобоко и с некоторой наивностью, но все же достаточно выпукло и с крупицей иронии, восстанавливалась некая хроника бунинского осложненного быта. Поэтому в общих чертах я заранее мог догадываться об атмосфере, царившей на "Жаннетте", в которую Бунин со своими домочадцами возвратился незадолго до моего посещения.

Говорю "возвратился", потому что вслед за вступлением в войну Италии, Бунины, чтобы спастись от возможных напастей (ведь до итальянской границы было "рукой подать", а итальянский берег иногда виднелся из окон бунинской комнаты), опрометью бежали из Грасса. По их собственным признаниям, ничего более нелепого, чем эта эпопея в каком-то ветхом, полуразваливающемся такси, почерепашьи двигавшемся на древесном угле по запруженным беженцами дорогам, нельзя даже вообразить. Если бы не трагизм положения, описание их бесцельного мыканья из Грасса в окрестности Монтобана и почти сразу же обратно (а это тысяча с чем-то километров) было бы с руки одному только Лейкину. "Наши заграницей" да еще в военное время!

*

Мне не хочется здесь говорить более подробно о себе, хотелось бы щадить читателя, но все-таки я должен отметить, что не раз мне приходилось читать (даже в некоторых советских изданиях), что я, мол, пришел к Бунину с "просьбой приютить меня" и что я на "Жаннетте" скрывался". Я всегда был фаталистом и когда я приехал в Грасс, я был еще в военной форме, никакой другой одежды у меня не было и мне в голову не могло прийти, что мне придется от кого-то скрываться. На "Жаннетте" я всегда жил легально, под своим именем, имел все виды продовольственных карточек, получал письма, даже подружился с местным полицейским комиссаром. А когда появились немцы, меня, как и всех грасских жителей поочередно, мэрия вызывала на рытье каких-то ерундовых окопов и установку проволочных заграждений, которые несомненно свалились бы от дуновения сильного "мистраля". За эту работу я даже получал

от мэрии какие-то гроши! Затем – и это было много страшнее – получил приглашение явиться для освидетельствования в "S.T.O." ("Service obligatoire du travail" – "обязательная трудовая повинность"), то-есть, отправка на работы в Германию. Я предстал перед синедрионом врачей с огромными радиографиями под мышкой. Не буду распространяться, хотя это посещение страшной комиссии могло бы стать темой небольшого трагикомического рассказа, но в результате каких-то черных пятнышек на моих легочных снимках я был признан непригодным "в нулевой степени". Я сохранил эту бумаженку, которая, вероятно, спасла меня, когда совсем перед освобождением я был арестован "эсэсами". Можно ли тогда говорить о том, что я "скрывался"?

*

Когда я очутился на "Жаннетте", бунинское "семейство" состояло из четырех человек. Кроме самих Буниных у них жила поэтесса Галина Кузнецова и ее подруга – сестра философа Степуна, Марга, певица, обладавшая сильным характером и недюжинным голосом, в прошлом выступавшая на некоторых провинциальных немецких оперных сценах, а теперь услаждавшая редких гостей пением "Ich grolle nicht". Непременный член бунинского окружения, Зуров, тогда еще отсутствовал, он находился на излечении в какой-то санатории и появился несколько позже.

Галя и Марга, именовавшиеся "барышнями", обитали полусамостоятельно наверху, в так называемой "башне" и мне почти сразу бросилось в глаза, насколько они были слишком откровенно неразлучны, как редко сходили вниз "в общие покои" по одиночке. Не надо было быть тонким психологом, чтобы обнаружить, что они тяготятся пребыванием в бунинском доме и только ждут случая, чтобы из него "выпорхнуть" и окончательно самоопределиться.

Забегая вперед, укажу, что случай этот нежданно-негаданно представился им примерно год спустя и они смогли перекочевать в Канны, а затем уехать под крылышко Степуна в Дрезден, там их ожидали невеселые события: во время пресловутой бомбежки саксонской столицы они, хоть сами уцелели, потеряли все свое имущество, даже носового платка у них не осталось.

А Иван Алексеевич этот "отлет" его домочадиц, с которыми у него тогда уже установились довольно прохладные отношения, что было, собственно, при сложившихся обстоятельствах в порядке вещей, все же счел "изменой", долго был не в силах примириться с совершившимся фактом и весьма "по-скифски" порвал с той французской литературной дамой, которая этому "отлету" материально содействовала и под влиянием своего друга, Андре Жида, была пламенной поклонницей Бунина. Она была готова в меру своих сил (а силы ее были немалые!) услаждать жизнь Бунина всяческими вкусными приношениями, которые он особенно ценил в это "постное" время. Но!

Я отклонился снова в сторону. Вспоминая эти безрадостные в их однообразии дни, мне думается, что в Бунинском решении приютить меня и не выпускать из-под своей опеки (потом он всегда брюзжал, когда я на несколько дней покидал Грасс и отправлялся проведать старых приятелей, нашедших тогда пристанище в Ницце или Каннах, а если невзначай я заговаривал о том, чтобы покинуть его гостеприимный дом, он буквально приходил в неистовство и начинал "по-бунински" ругаться) некоторую роль по началу сыграли именно "барышни". Дело было не в их симпатии ко мне, а в том, что им не терпелось видеть на "Жаннетте" человека "нейтрального", который внес бы известное равновесие в жизнь виллы и мог стать своего рода мостом между двумя "враждующими коалициями".

*

В одну из первых недель моего пребывания под бунинской крышей, после того, как все домашние уже разошлись по своим комнатам, Иван Алексеевич появился у изголовья моей лежанки. Благо осень была совсем теплая и я спал еще на застекленной веранде.

Он пододвинул стул к моему изголовью и затеял длинный разговор, скуля о своей участи или, как он говорил, "о величии и падении" Бунина, о величии и славе нобелевского лауреата, который пожимал руку королям, и о своем нынешнем положении "нищего старика", которого ни за что, ни про что честит какой-то нахальный садовник. "Вот,

мол, когда-то интервьюеры вертелись вокруг меня, как пчелы вокруг сот, – продолжал он, – а теперь я нищ как Иов и никому в мире до меня нет дела".

Особенно пессимистично он смотрел на будущее, которое в те дни, действительно, должно было казаться весьма мрачным. Исход битвы за Англию еще не определился, а подцензурные французские газеты да заодно с ними и "Журналь де Женев", который иногда еще можно было купить в киосках, шумели о гитлеровской непобедимости. Между прочим, потом Бунин признавался, что умышленно сгущал свой пессимизм, чтобы, не дай Бог, не сглазить.

Чувствовалось, однако, что говорить со мной в этот вечер ему хотелось совсем о другом и он по началу только кружил вокруг да около, перескакивая с одной темы на другую, словно с трудом подымаясь по некой воображаемой винтовой лестнице.

После короткой паузы – он докурил папиросу и сразу же вставил другую в свой вишневый мундштучок – без малейшей связи с предыдущим вдруг спросил, словно выстрелил:

– А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал, – он улыбнулся, – но для вас они, конечно, недостаточно пряны и изысканны, Вас съел Блок.

Мне было трудно ему ответить, да едва ли он моим ответом интересовался, потому что тут же добавил, что, по словам Горького, какие-то его стихи хвалил "сам" Толстой, который вообще к стихам относился "свысока" (Я запомнил это бунинское слово!).

– Иван Алексеевич, мы когда-то уже с вами на эту тему говорили в Париже, когда после выхода тома ваших избранных стихов я клянчил у вас экземпляр этой книги, а вы якобы не хотели мне его подарить и только чуть попозже, вняв моим "слезам", вытащили экземпляр откуда-то, чуть ли не из-под кровати (он прервал меня: "ах, негодяй, таки запомнил, что я люблю укладывать новые книги под кровать, чтоб не сперли; заглянуть туда никто не догадается) и надписали на нем что-то вроде "Аля, зачем вам мои стихи", расставив тут же целую колонку восклицательных знаков. (Том этот у меня сохранился и бунинское посвящение я в точности Бунину напомнил).

– Неужто? Значит, зря я вам его преподнес. Неужели вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?

*"Не дано тебе знать человеческой думы,*
*Что давно опустели поля,*
*Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый*
*Золотого сухого шмеля!"*

Я много раз слышал, как Бунин читал свою прозу, но, кажется, в этот осенний вечер я впервые слышал, как он наизусть читает собственные стихи. Несмотря на безыскусственность его чтения, на отсутствие в нем малейшего напряжения, эти строки до сих пор звучат в моих ушах.

Отмечу тут же, хоть это было много позже, что както, неизвестно по какому поводу, я декламировал при Иване Алексеевиче плохенькие стихи Эренбурга, сплошь надуманные, потому что, зная его, могу предполагать, что он был подвержен морской болезни:

*"Я любил ветер верхних палуб,*
*Ремесло пушкаря,*
*Уличные скандалы,*
*Двадцать пятое октября..."*.

– Чьему изысканному перу принадлежит этот шедевр? – спросил Бунин. – Плоско и лживо. Но это черт знает что такое, как все вы уже двадцать пять лет по одному шаблону читаете стихи, не считаясь с их содержанием, не индивидуализируя их.

Передразнивая меня, он долго скандировал:

*"Меня положат в про-дол- говааатый ящик,*
*Свидетель стооольких изме- эээн..."*

– Я и вашему Ходасевичу не раз об этом говорил, но он оправдывался тем, что и Пушкин, мол, подпевал стихи. Не верю, а если подпевал, то это были именно такие, которые требуют напевности, а вы все в одну кучу валите.

*

– Ну, что, – продолжал он, все еще думая о своих стихах о шмеле, – разве это хуже швырянья ананасами да еще в небеса! Впрочем, вы несомненно приняли бы ближе к сердцу одну из самых ранних моих вещей, которую начал

сочинять еще в Ельце, будучи гимназистом, значит, как вам известно, как бы под столом еще ходил, а закончил, когда уже жил на приволье в имении моей бабки. О, это был "роман в стихах" – "Петр Лихачев". В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе и я ими невольно заразился. Подумал, что с ними будет "вкуснее". Я был тогда очень горд моим созданием – но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту оттуда несколько строк, которые почему-то врезались в память.

Мне до сих пор досадно, что я тогда же не записал весь фрагмент этого "романа в стихах", который он продекламировал. Впрочем, я думаю, что записывать его строки он бы мне не позволил. А на утро я запомнил всего лишь две строки из самого начала – запомнил, потому что, вероятно, не понял их смысла, хоть и записал в тетрадь:

*"И над калиткою стояло:*
*Сей дом четвертого квартала..."*

Это, вероятно, самое раннее, что дошло до нас из всего бунинского творчества. А объяснил он мне смысл этих строк на следующий день: оказывается в те допотопные времена в Ельце на каждом доме красовалась ржавая, жестяная дощечка с надписью – "дом мещанина такого-то, такого-то квартала", а номеров у домов не было.

Тут же он стал рассуждать на тему о том, как он мудро поступил, бросив гимназию, в которой пытались втискивать в него никому ненужные знания и не давали того, что могло впоследствии пригодиться и каким мудрым был его отец, который не принуждал недоучившегося четырехклассника вернуться в опротивевшую гимназию. Зато потом с помощью брата он сам себя образовал, четыре года всецело отдав чтению, изгрызая любимых поэтов. "К ним, – словно каясь, произнес он, – притесался и Надсон. Не взыщите, время было такое, но эта "любовь" продолжалась у меня недолго. Вы ведь хорошо знаете, что я не следую моде – и тут, еще раз, чтобы "уколоть" – не всегда питаюсь "ананасами"!".

За этим и без малейшей логической связи с "ананасами", он спросил, читал ли я Саади и, в частности, замечательный его "Гюлистан" и, если читал, то запомнил ли слова великого перса о том, что "у всякого клада находится стоглазый дракон, который этот клад оберегает"?

– К чему бы это, – подумал я про себя.

Он точно угадал мои мысли. "Нет, это я так, просто вспомнилось, а то ведь если произнести имя Саади, все сразу тычут вам в нос – "иных уж нет, а те далече". А тут, собственно, и мудрости нет. Да, милый мой, вам еще не дано знать, и радуйтесь этому, что мерещится старикам ночью, когда им не спится. А пришел на память Саади, собственно, потому, что всяческих драконов вокруг нас видимо-невидимо, даже если никакого клада у нас нет и в помине. Есть драконы большие, большущие, которые иногда завывают по радио, но есть и малые, но и те царапаются пребольно. Они до поры до времени затаились в своих завалинках, там копошатся и не пикают, но погодите... вы еще вспомните старика!

Тут он стал, значительно, как мне тогда казалось, сгущая краски, излагать "соотношение сил" в его доме.

– Вы вот думаете, что все у нас идет,как по маслу. А ведь никакого масла мы и по продовольственным карточкам не получаем! В этой английской вилле вы уже несомненно успели рассмотреть – знаю, ваше библиофильское пристрастие – стоящие внизу шеренгами какие-то мудреные богословские фолианты (владелица виллы была вдовой англиканского пастора), ткнулись носом в стоящую в саду, заслоненную деревьями заколоченную часовенку, которую нам не велено открывать, и вот вы невольно думаете, что очутились в тихой пристани. Между тем, это одна видимость... В этом полузатерянном и, слава Богу, полузабытом всякими злыми людьми – а вы даже толком не знаете еще, как их на свете много – ("злых людей на свете много" – была одна из любимых его присказок, которую он вставлял в разговор кстати и некстати), оазисе пока все спокойно и закономерно, если не считать, что подаваемую к обеду и возвещаемую гонгом бурду мы по традиции продолжаем именовать супом. Да, здесь все пока спокойно,

но так же спокойно, как спокойно было на Шипке! Вы бы в свое время спросили у Немировича-Данченко, как там было... Но теперь мы вступаем в полосу блаженных "роковых минут", пропади они пропадом. Что Тютчеву могло примерещиться? Скажите на милость, какие такие "роковые минуты" он переживал? Кажется, самой "роковой" была та, когда его выставили из Турина и он лишился своего дипломатического поста! А все-таки я из упрямства об этих минутах, даже более серьезных, и помышлять не хочу. Я предпочитаю уподобляться страусу и зарыться с головой, если не в песок, то в мою подушку и принять легкое снотворное. Но я о другом. Вот скоро, чуть ли на днях, прикатит сюда "скобарь" и тогда вы, а заодно с вами все жители "Жаннетты" запоют уже по-другому...

Я переспросил его: "Скобарь"? Какой такой "скобарь"? Что это за бука такая?

– Ну, не прикидывайтесь, ведь вы его хорошо знаете, хотя, может быть, недостаточно хорошо. Вы его встречали только "на людях", а это другое дело, зато теперь узнаете поближе. Вы уже, конечно, догадались, что я имею в виду Леню (Зурова). Ведь он родом из псковского края, это у него на бровях написано, а в старину псковичей и прозывали скобарями.

В то время Бунин за глаза частенько величал Зурова "скобарем", но открыто этого прозвища применять не решался и мне до сих пор не удалось в точности установить, был ли в этой кличке какой-нибудь пренебрежительный оттенок. Объяснения этому наименованию я пока не нашел, в словарях оно не упоминается.

Было естественно, что после этой тирады я стал недоумевать, хотя был уже осведомлен о непрестанных трениях, возникавших между Буниным и Зуровым. Все - таки мне еще было не вполне понятно, как же к человеку, который уже годами живет под его крышей (а Зуров с редкими промежутками прожил у Буниных до самой их смерти, унаследовал часть их парижской квартиры, а заодно с ней и архив Ивана Алексеевича), человеку, которого он сам выписал из прибалтийских стран, которому по началу он всячески литературно покровительствовал, мог он относиться

с такой нескрываемой неприязнью? Мне хотелось разгадать, было ли это у Бунина постоянным чувством или минутной вспышкой.

Оказалось, и это я мог обнаружить только впоследствии, отношения между ними были не только нелегкими, но настолько запутанными, что распутать их уже не было возможности. Сознание того, что, может быть, через час-другой ему предстоит вступить в какие-то препирательства с одним из своих сожителей, выдержать очередной наскок неизбежно накладывало известный отпечаток на последний период жизни Бунина, действовало на его нервы.

Отношения между этими двумя людьми, если их можно было бы изобразить графически, шли неравномерными зигзагами, иногда подымаясь, чтобы затем резко упасть. Бывали, конечно, периоды, когда Бунин бывал даже рад обществу Зурова, его присутствию, спорам с ним, несмотря на то, что они всякий раз кончались взаимными пикировками и каждый из них пытался всадить в другого какие-то "бандерильи" и тут же, как полагается по правилам тавромахии, отступить, чтобы подготовиться к новому нападению.

Время было военное и иной раз, прослушав лондонские радиопередачи, которые порой удавалось разобрать через глушение, Зуров с напускной важностью объяснял Бунину ход военных операций. Он был всеми жителями "Жаннетты" признан домашним Клаузевицом и перед его военным авторитетом Бунин вынужден был пасовать. Никакие стратегические движения, никакие диспозиции, реальные или воображаемые, в его голове никак не укладывались. Недаром он был человеком глубоко штатским и только негодовал из-за того, что события разворачиваются в слишком медленном темпе.

Зато иногда, точно его какая-то муха укусила, он начинал Зурова ненавидеть и это сразу просачивалось у него наружу. Можно было тогда заметить, что в такие минуты в разговоре с Верой Николаевной он упоминал Зурова не иначе, как "твой воспитанник" и потом, чтобы ее поддеть, громыхал – "уже Чехов говорил, что если человек не понимает шуток, то пиши пропало... а твой воспитанник подлинно меднолобый – шуток не понимает, женщин боится, не

только никогда не был влюблен, но никогда ни с одной никаких шашен не заводил, даже не пытался. Тоже мне прекрасный Иосиф, всецело собой занятый... Меня не провести – я знаю, где собака зарыта..."

Да, отношения между Буниным и его "подопечным" подлинно складывались волнообразно чуть ли не со дня его появления на бунинском горизонте. Многое мне оставалось в этих отношениях непонятно, даже когда я бывал непосредственным свидетелем происходившего, но кое-что мне потом объяснил милый, хоть и во многом наигранно наивный "Грасский дневник" Галины Кузнецовой. Отмечу, при этом, что получив от нее ее книгу с надписью "в память далеких южных дней", я очень внимательно прочитал ее и потом спросил (мы оба жили тогда в Мюнхене) – как же так вышло, что она в своем дневнике с укоризной пишет о том, что "в нашем литературном кругу все всего боятся – боятся говорить, высказывать прямо мысль, суждение о комнибудь. Вдруг передадут? Вдруг выйдет сплетня? И от этого говорят только то, что безопасно, то-есть, пресно. скучно, обще, никому не нужно, без красок. Все друг друга боятся", – а на поверку выясняется, что издавая свои записи примерно через сорок лет после описываемых ею происшествий, сама она то и дело чего-то побаивается, чего-то не договаривает и пытается нарисовать грасскую довоенную жизнь, тогда еще на вилле "Бельведер", как некую идиллию, хотя когда ее дневник вышел из печати мало кто еще оставался в живых из тех, которые были действующими лицами на страницах ее книги.

Бедная Галина отвечала довольно неопределенно. "Ах, всего, милый мой, не скажешь. К тому же я опубликовала только небольшую часть моих записей". С моей точки зрения – и я не скрывал от нее моего мнения – эта ее "застенчивость" не была достаточным оправданием, тем более, что она отчасти умаляла ценность книги, которой будущим биографам Бунина придется пользоваться с оглядкой на то, что Кузнецовой было несподручно писать обо всем и "наводить тень на ясный день". Психологически это, конечно, понятно, потому-что, хотя викторианские времена давно и безвозвратно миновали, ее собственное положение не было вполне "нормальным" – непривычным на "Бельведере" и вдвойне непривычным в период житья на "Жаннетте".

Кузнецова в своем "Дневнике", между прочим, описывала, как произошла эпистолярная встреча Зурова с Буниным. Зуров прислал на суд Ивана Алексеевича, которого он, мол, издали "боготворил", свою первую (и лучшую) книгу "Кадет", за которой вскоре последовала и вторая, тоже изданная в Риге, "Отчина". Обе книги попались в руки Кузнецовой, Бунин куда-то их ткнул, не читая. Кузнецовой они пришлись по вкусу, она их разрекламировала и настояла на том, чтобы Бунин ознакомился с ними. "Кадет" понравился ему, он учуял в книге свои собственные, бунинские акценты, а грешным делом всегда был неравнодушен к своим эпигонам.

Сейчас уже малопонятно, как в "Отчине" его не оттолкнули хотя бы такие описания, как "Псков выплывал из туманов лебединым станом", которые своей васнецовской псевдо-красивостью привели в восторг Галину, но были всегда ненавистны Бунину. Сколько раз он насмешливым тоном корил Блока за "лебедей, кричащих над Непрядвой", а тут под кузнецовским влиянием как бы на время сдался и прошел мимо них.

Как бы то ни было, как описано в "Грасском дневнике", Бунин "из самых благородных побуждений и вполне простодушно" решил посоветовать Зурову перебраться во Францию, стал через друзей хлопотать для него о французской визе, что тогда было связано с большой волокитой, и стал давать Зурову всевозможные советы, как и где устроиться в Париже. Впрочем, едва ли практическая жилка Ивана Алексеевича была способна сослужить службу кому бы то ни было!

Прошел год после получения "Кадета" и Зуров с кульком антоновских яблок (знал, чем поддеть!), плетенкой клюквы и большим караваем черного хлеба, казавшегося, по словам Галины, "обломком лаврского колокола", появился на бунинском "Бельведере". "От него веяло древлянами и половцами", – добавляла она и тут ей нельзя отказать в меткости.

Зуров быстро вошел в жизнь дома, но – я еще раз цитирую Кузнецову – "нельзя сказать, чтобы слился с ней".

А когда он более или менее освоился, сразу перестал играть в "ученика", стал мечтать о полной самостоятельности и независимости, непременно хотел все делать "не как Иван Алексеевич" и досаждал довольно беспомощной Галине тем, что зазорно и не по возрасту им обоим быть на положении каких-то "полудетей". Конечно, это было вполне закономерно и естественно для человека, который любил прибегать к формуле: "мы – писатели...".

Однако... однако в Париже Зуров должен был подыскать себе какое-нибудь пристанище, но все кончилось тем, что в бунинской столовой поставили ему кушетку (он только позже переселился в отдельную комнатенку) и на Оффенбаховой улице прожил до конца своих дней. Было поэтому нормально, что постоянное присутствие постороннего человека в маленькой квартирке, когда от глаза этого человека ничто не могло скрыться, раздражало владельца этой квартиры и свое недовольство он нередко переносил "с больной головы на здоровую", то-есть, на мало в чем повинную и внешне покорную Веру Николаевну

*

В "Грасский дневник" словно невзначай вклинилась одна запись, на которой следовало бы задержаться. Описывая периодически происходившие в бунинском окружении споры о Достоевском, всегда возбужденные (они продолжались и в военные годы и внешние события не мешали накаленности атмосферы), Кузнецова отметила, что Вера Николаевна как-то довольно для нее неожиданно обмолвилась, сказав, что "Достоевский ей многое объяснил и в самом Иване Алексеевиче и в жизни всего их дома". Надо надеяться, что эти слова не дошли до ушей Бунина – они вызвали бы в нем бурю – и что вырвались они у Веры Николаевны непродуманно, вернее, что ей не могло прийти в голову, что кто-либо эти слова "увековечит".

А между тем было немало глубокой и горькой правды в этой примитивно толкуемой "достоевщинке", которая то и дело проскальзывала на поверхность их общей жизни. Она невольно питалась той нарочитой атмосферой, которую Бунин, не отдавая в этом себе стчета, сам создавал, той почти постоянной напряженностью, которая из - за этого возникала да и не могла не возникнуть.

Поэтому замечание Веры Николаевны, даже если оно нечаянно сорвалось с ее уст, наводит на известные раздумья. Возможная ссылка на "Село Степанчиково" — было бы намеренным упрощением ее мысли, тем более, что не она, а только Иван Алексеевич мог думать об Опискине, как о "прототипе". Имя Достоевского, как мне видится издалека, было ею произнесено почти наобум. Оно, так сказать, "к слову пришлось". Может быть, в пылу спора ей и виделись какие-то коллизии, описанные Достоевским, но по существу в тот момент думала она совсем о другом и то, что за этим замечанием, которое надо было расшифровать, скрывалось, едва ли когда-либо ее в те годы покидало.

Вера Николаевна не дотянула всего лишь нескольких лет до того, чтобы иметь право отпраздновать свою "золотую свадьбу" с Иваном Алексеевичем (ведь так несущественно, что их брак был официально оформлен только в Париже на заре эмиграции). Я толком не знаю, как по началу протекала их совместная жизнь, но судя по тому, что мне достаточно хорошо известно вплоть до отъезда из России, в житейском плане все протекало вполне нормально, по заведенному трафарету.

Может быть, уместно тут добавить одну небольшую, но как-никак вескую деталь: до приезда в Париж Бунины никогда собственного оседлого обиталища не имели. Они жили то в имениях родственников, то в семье Муромцевых, родителей Веры Николаевны, то в гостиницах, много путешествовали, побывали в экзотических странах, зимы год за годом проводили на Капри. Если этот кочевой образ жизни в меньшей степени отражался на "муже", то он не мог не наложить какого-то отпечатка на "жену".

Очутившись в эмиграции, они, как и все те, кто покинул "насиженные гнезда", страдали и морально и материально. Относительное безденежье усугубляло происшедшую ломку привычного образа жизни. Но почти сразу после переселения во Францию Грасс стал для Бунина подлинным магнитом, к которому он неустанно тянулся, хотя в то же время завел и маленькую квартирку в Париже, с грехом пополам обставив ее. А ведь это было для обоих ново и непривычно...

Таким образом, если отрешиться от невзгод, вызываемых недостатком "разменной монеты" (в семье Буниных от этого страдал только один Иван Алексеевич) и волнением, которое возникало из-за неизвестности — придет ли к сроку какое-то вспомоществование, жизнь текла по заведенному ритуалу. А ритуал этот только способствовал тому, что Бунин брался за перо едва ли не чаще, чем в нормальной обстановке во времена дореволюционные.

Так продолжалось примерно до конца двадцатых годов, когда в бунинской жизни внутренне, а затем и внешне многое изменилось.

Я не хочу касаться всех деталей того, что случилось, да, конечно, о многом я и не осведомлен. Скажу только, что в течение долгих лет я переписывался с Верой Николаевной, когда мы жили в различных городах, и не могу не сожалеть, что ее письма не уцелели.

Но случилось нечто, для чего я не нахожу объяснений. Разбирая недавно папку со всякими бумагами, я наткнулся на знакомый почерк. Подлинно не было правил без исключений. Передо мной лежали три письма Веры Николаевны и — после всех этих лет — одно из них представляется мне особенно знаменательным и многое поясняет.

Писалось это письмо из Грасса в период совето-финской "зимней" войны.

"Вы не думайте, — писала Вера Николаевна, — что я по своей воле живу в башне из слоновой кости. Если бы у меня была свобода и силы, то я, может быть, полетела бы вместе с Зензиновым в Финляндию (он ездил туда, чтобы побеседовать с советскими военнопленными), но ведь вот уже скоро 33 года, как я отказалась от жизни по своему вкусу, связав свою жизнь с жизнью Ив. Ал., человека очень оригинального. *Двадцать* (подчеркнуто автором письма) лет я прожила с ним в большой душевной близости, силясь слить наши желания, стремления — все воедино, а затем поняв, что это невозможно, стала искать иных путей. Почему невозможно? Если вы читали Лику, там есть ответ. Я, конечно, не Лика, и он — не вполне Арсеньев, но если женщина не живет честолюбием и другими приятными сторонами творческого человека, и хочет отклика на свою

внутреннюю жизнь, хочет внимания к своей личности, то от творческого человека она никогда этого не получит. Такой человек жаден, ему все мало, он любит брать от всех, а дает себя только в творчестве, а не в жизни.

И вот тринадцать лет я уже ищу и пожалуй нашла, нашла Бога и очень рада той свободе, которая (я говорю о внутренней) особенно легко приобретается рядом с творческим человеком. Это мое освобождение ничуть не нарушает дружбу – мои уши всегда готовы выслушать, но я уже не страдаю от того, что есть области моей жизни, которые интересны *только мне*.

Когда-то я почти ежедневно прочитывала Фому Кемпийского и много я получила для себя из этой маленькой книжки, но она куда-то пропала..."

То, что это письмо вмещает между строчками, достаточно показательно, даже если сделать поправку на ущемленное самолюбие. Дело не в чтении Фомы Кемпийского, его читала даже, если не ошибаюсь, каренинская графиня Лидия Ивановна, но в том признании, что богоискательство Веры Николаевны продолжается тринадцать лет, то-есть, именно с того момента, как семейная жизнь Буниных оказалась нарушенной и в их обретенное в нелегких материальных условиях (о нобелевской премии ведь еще и речи не было) первое в жизни оседлое обиталище – по воле Ивана Алексеевича, по его категорическому "быть по сему" (кровь порой давала о себе знать) – включился новый "элемент" в лице Галины Кузнецовой. Это нарушало не только принятые "светом", каким бы он ни был мизерным, условности, но и домашнее равновесие.

"Удочерение" (так этот акт официально назывался при поездке в Стокгольм за получением шведской премии) сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее внедрение в бунинскую квартиренку было, конечно, тяжелым ударом по самолюбию Веры Николаевны, по ее психике. Ей надо было со всем порвать или все принять – другого выхода у нее не было. Но не было достаточно сил и упорства, чтобы не допустить того, что ее глубоко ранило. Вероятно, кроме стороны материальной, ее от окончательно разрыва удерживала не только крупица засевшего тщеславия, что все-таки она – жена Бунина, но,

главным образом, твердая уверенность в том, что создавшийся треугольник — явление наносное и временное и рано или поздно (как говорил Матвей Стивы Облонского), "все образуется".

Как показало будущее, да при том не особенно далекое, Вера Николаевна была права в своих предвидениях, хоть никак не могла, даже отдаленно предположить того, как события в бунинском доме развернутся.

*

Замечал ли Бунин всю несообразность созданного им быта или его мужской эгоизм заслонял отрицательные черты нового образа жизни — трудно сказать. Иван Алексеевич часто не замечал того, чего заметить не хотел, того, из чего ему пришлось бы сделать какие-то неулыбающиеся ему выводы.

Обычно сдержанный, иной раз чего - то не дослышав или не разобравшись в том, что ему было сказано, он мог вдруг разъяриться, вспыхнуть, наговорить кучу ненужных слов, приносивших вред только ему самому. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим года жизни под его кровлей подобные вспышки, сопровождаемые громом и молниями, я мог наблюдать не больше двух-трех раз, при чем причины их породившие оставались всегда одними и теми же.

Между прочим, я всегда думал, что нечто подобное, основанное на недоразумении, произошло у него когда-то в Линдау с немецкими таможенниками, когда он после путешествия по Германии переправлялся в Швейцарию. Об этом инциденте тогда много писалось в печати, но, вероятно, все было вызвано взаимным непониманием. Бунин, еще гордый своим званием нобелевского лауреата, при паспортном и валютном контроле разгорячился, не поняв вопроса, резко на него ответил и пришел в бешенство. Слыша его выкрики на непонятном языке, германские чиновники не только его обыскали, но с издевкой заставили раздеться и простудили. Этот случай он запомнил до своих последних дней и еще увеличил ненависть к гитлеровскому режиму !

Такого же порядка инциденты – конечно, без прискорбных результатов – периодически происходили у него с сумрачным стариком-садовником "Жаннетты", которому по контракту с владелицей виллы предоставлялось право пользоваться фруктовыми деревьями из сада и разводить в нем огород. Садовник естественно наведывался по несколько раз в неделю, чтобы следить за своим огородом. С самого начала Бунин не взлюбил его, то ли за его не располагающий к разговору вид, то ли потому, что плохо его понимал. "Несносный старик", как Бунин его величал, говорил на местном диалекте. Иван Алексеевич, чтобы позабавиться и подразнить садовника иной раз срывал недозревший абрикос или какую-нибудь овощь из запретного огорода. Обычно садовник молчал, но иногда и он вскипал и тогда не было сил остановить их перебранку – один извергал самые пронзительные русские ругательства, другой отвечал ему по-провансальски. Хоть это для Бунина и было своего рода развлечением, но все же после очередной перебранки сердце его колотилось сильнее. Впрочем, на следующий день все было как ни в чем не бывало, хоть начинай сначала!

Я упоминаю эти незначительные и, казалось бы, лишенные интереса эпизоды грасской жизни неспроста. В какой-то мере они могут объяснить дальнейшее.

*

Мысленно я переношусь обратно к тем дням, когда из какой-то санатории приехал столь пугавший Бунина "скобарь" – это было в самом конце 40-го года, совсем незадолго до Рождества. И действительно, как предупреждал меня Иван Алексеевич, что-то сразу же в распорядке всей жизни "Жаннетты" изменилось, хотя очень трудно словами определить, в чем это изменение заключалось, потому что оно вызывалось совокупностью каких-то мелких деталей, каждая из которых была едва приметна.

Первое, что меня поразило, было то, что когда Зуров выходил из своей комнаты, хотя бы на минутку, он непременно запирал ее на ключ. Вслед за этим немедленно стал проделывать такую же церемонию и Иван Алексеевич. А так как он постоянно забывал, сходя вниз, прихватить с

собой папиросы, после очередной трапезы неизменно просил меня подняться за ними. Теперь ему приходилось вручать мне ключ и при виде моей гримасы наставительно добавлять: "Только не забудьте запереть за собой дверь на ключ".

У нас были установлены повинности по кухне и каждый (конечно, кроме Ивана Алексеевича) должен был поочередно заниматься растопкой плиты и выработкой и приготовлением меню (большого искусства тут не требовалось да и воли фантазии нельзя было дать – макароны или чечевица уже почитались роскошью!). До того все шло мирно и никогда ни с кем не было каких-либо пререканий, но тут Вера Николаевна заявила, что будет сама дежурить за Зурова, потому, мол, что кухонные обязанности могут отвлечь его от работы над романом. Этот повод естественно вызвал некоторый ропот и, главное, возмутил самого Бунина.

Досадно было и то, что по вечерам Иван Алексеевич стал реже появляться да и "барышни" из-за этого предпочитали оставаться на своей "голубятне", куда, кстати сказать, никто из домашних не допускался. Даже вечерние радиопередачи перестали на время привлекать Бунина (тут, конечно, было и то, что новости, которые он мог, всегда с большим трудом, услышать из Лондона были сплошь неутешительны, а "какой смысл зря огорчаться", приговаривал он), а о том, чтобы что-то почитать из написанного им уже не было речи. Ведь это был период его непрерывной работы над "Темными аллеями", а до того, когда он бывал в хорошем настроении, нередко читал написанное вслух, даже если оно еще не было окончательно обработано.

Напряженность создавалась еще из-за того, что Зуров умел без слов напоминать о своем присутствии. Под чрезмерно вежливой оболочкой он умел вдабливать в собеседника свое собственное мнение, не слушая возражений. Спорить с ним было не только трудно, но совершенно бесцельно. Он повергал в прах своего оппонента ссылками на свой археологический опыт в эстонской части Псковщины или на те материалы, которые ему удалось собрать для его эпопейного романа "Зимний дворец", бывшего тогда еще в

стадии "куколки" и никогда им не законченного. Эти ссылки он приводил постоянно, даже если они не имели ни малейшего отношения к дискуссии.

Иван Алексеевич втихомолку – в каком-то смысле он побаивался резкостей Зурова – уходил в свою "обитель". Перед сном, прощаясь с Верой Николаевной, приговаривал: "А, кстати, как подвинулся "Зимний дворец", что удалось к нему пристроить?" – и возмущенная Вера Николаевна, болезненно переживавшая иронию своего мужа, только бормотала: "Перестань, Ян, ведь он тебя не трогает..." – "Только этого не хватало". Этот обмен полу-междометий, кажется, был тогда ритуалом!

*

"Знаю я, как память коротка", написала Ахматова и я вспомнил эту ее строку, читая некоторые примечания и комментарии к советскому девятитомному собранию сочинений Бунина.

В качестве примера процитирую из бунинского письма, которое в этом издании приводится: "...В прошлом году еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа...".*/

Надо тут отметить, что департамент Приморских Альп, в котором находится Грасс, картошки да и вообще овощей почти не производит и в военные полуголодные годы, то-есть, в тот период, когда я у Бунина жил, картошка была у нас величайшей редкостью. Ее почти невозможно было достать даже на черном рынке и только несколько драгоценных картофелин иногда, крайне редко, преподносили Бунину в знак почитания знакомые русские куроводы из окрестностей Грасса, которые разводили эту изысканную овощь только для себя. Эти полузабытые нами плоды земли Бунин тотчас же уносил к себе наверх, хранил за семью замками и ни с кем, конечно, ими не делился.

Не менее непонятно в этом письме заявление о том, что он не имеет сил писать: это был как раз период его напряженнейшего творчества, когда над рассказами, составившими сборник "Темные Аллеи" он работал с утра до вечера, почти без передышки, точно торопясь их дописать.

*/ Бунин. Собрание сочинений. Москва. 1966. Том 7-ой. Стр. 369.

Еще менее понятна фраза в письме к старому другу, писателю Телешову, о том, что "Мы пять лет просидели в Грассе, пережили много всяких лишений, были под властью то итальянцев, то немцев – гестапо которых долго разыскивало меня, что, однако, не помешало мне написать большую книгу рассказов" */.

Последнее замечание прямо противоречит предыдущему, но заскок памяти не в этом : курьез в том, что Бунину неожиданно чудится, будто его разыскивало зловещее гестапо. О, если бы только это учреждение могло кого-то разыскивать, кто жил у себя на вилле, кого в маленьком городишке знал в лицо чуть ли не каждый встречный-поперечный (что, кстати сказать, Бунину очень льстило !) и не найти...

Наряду с бунинскими письмами в упомянутом советском издании в качестве надежного источника приводятся и некоторые письма Зурова, адресованные советским бунинологам. Иные утверждения в этих письмах настолько мало соответствуют действительности, что кажутся не столько продиктованными фантазией, сколько измышленными с определенной целью.

Для пояснения : "Там – на вилле "Жаннетт" мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали... Скажу одно, в те годы население Грасса съело всех собак и кошек". Жизнь в Грассе Зуров очевидно спутал с описаниями того, что происходило в дни осады Парижа в 1871-м году, во время франко-прусской войны !

А дальше : "Грасские земли плодородием не отличаются, все заняты цветоводством. Немного помогал огород, который я, приехав, разбил на террасах (лук, чеснок, пуашиш, порей и помидоры...")**/

Я уже упоминал, что террасы были владением садовника, который на них, действительно, разводил и исключительно для себя небольшой огородец. Что касается зуровского огорода, то занимал он едва ли один квадратный метр и находился в том углу сада, где высилось замечательное, очень старое фиговое дерево, заслонявшее своей

---

*/ "Исторический архив", издание АН СССР, №2, Москва. 1962. Стр. 160.

**/ Там же –, стр. 157.

листвой солнце, и потому огородник-профессионал не стал бы копошиться на этом клочке земли. Зуров же, действительно, за своим детищем ухаживал, как только мог. Он носил воду для его поливки в кувшине из ванной комнаты и с превеликим трудом выращивал с десяток луковиц и примерно десятка два томатов. Так что все его агрономические упражнения ни в какой мере не могли быть помощью в хозяйстве бунинского дома, а скорее были игрой, приведшей к прискорбным и драматическим осложнениям, о которых скажу несколько слов дальше.

Отмечу еще, что в тех же примечаниях к советскому изданию сочинений Бунина, о котором я уже упоминал, приводится письмо Зурова, сообщавшего своим московским корреспондентам: "При немцах Иван Алексеевич не напечатал ни строчки. Ему из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались..." */ Тот, кто опубликовал это письмо, очевидно не задумался над тем, почему приглашение участвовать в "коллаборантской" печати должно было идти через Швейцарию. А рассказ о каком-то таинственном незнакомце, под видом гостя проникшим к Бунину, чтобы приглашать его – по-видимому, в парижскую жеребковскую газету, другого русского печатного органа в период оккупации во Франции не было – сплошное мифотворчество, тем более, что случайных гостей на "Жаннетте" никогда не появлялось, а в те времена особливо.

Что до швейцарского предложения, то тут Зуров явно все перепутал. Это предложение касалось французского перевода еще не вполне завершенных "Темных аллей" и упоминание об этом подталкивает меня к тому, чтобы сказать несколько слов об отношениях Ивана Алексеевича с Андре Жидом, нарушая какую бы то ни было логическую или хронологическую последовательность моего изложения.

---

*/ "Исторический архив", издание Академии Наук СССР, №2. Москва. 1962. Стр. 157.

*

В начале двадцатых годов, Андре Жид, бывший тогда в зените своей славы, в помещении театра "Старой голубятни" выступил с циклом докладов, приуроченных к столетней годовщине со дня рождения Достоевского. В те уже далекие дни Достоевского во Франции знали весьма поверхностно, и выступления Жида стали своего рода литературным событием. Театр был всегда переполнен, и получить входной билет на лекцию стоило большого труда. Все же, хоть это никак не вяжется с нелюбовью Бунина ко всяким лекциям и рефератам, он раз-другой пришел Жида послушать. Очевидно, ему было любопытно узнать, как "острый галльский ум" воспринимает творчество Достоевского, которого он недолюбливал; может быть, он надеялся, что это будет "водой на его мельницу".

Как бы там ни было, на одном из этих докладов писатели познакомились, или, точнее, были друг другу представлены. Впрочем, их встречи ограничились сухим рукопожатием. Это было вполне естественно: ведь тогда один еще мало что знал о другом.

Однако, вскоре после этого Жид занес в свой пресловутый "Дневник", что ему попалась бунинская "Деревня", и при чтении этой книги он несколько дней провел, как он выразился, "среди скифов", добавляя, что "Деревня" "подлинно достойна восхищения".

Между тем, пути двух будущих нобелевских лауреатов долго не скрещивались. Бунин, предпочитая "вариться в собственном соку", как-то сторонился иностранцев, особенно представителей литературного мира. Из-за недостаточного знания иностранных языков он сознавал, что ему невозможно "блеснуть" перед ними, а, кроме того, создавшееся неравенство общественного, вернее, житейского положения создавало у него в их обществе некий "комплекс неполноценности", хотя в то же время малейшее внимание иностранных литературных "светил" очень ему льстило. Достаточно указать, что в своей книге воспоминаний он целую главку посвятил рассказу о совершенно незначащей встрече с почти ныне забытым Джером К. Джеромом, славу и значение которого он значительно преувеличил. По той же причине не вышло у него подлинного общения с Рильке,

который как бы стучался в его двери, с Томасом Манном, с Анри де Ренье, писавшем о нем, с Мориаком, творчество которого он всегда превозносил до небес. Даже с более молодыми французскими писателями русского происхождения, с которыми он свободно мог разговаривать по-русски, как, например, с Кесселем или Труайя, он сблизиться не сумел.

Но вот Жид был во многом человеком особенным. Единственный из французских литераторов он не забыл о Бунине, когда вслед за началом германо-советской войны в так называемой "свободной зоне" Франции по отношению к русским эмигрантам были приняты довольно нелепые, хоть в общем вполне безобидные меры. Жид сразу же обратился к Бунину с очень сердечным письмом, предлагая посильную помощь, а если "что не так", пустить в ход свои связи.

Помощь эта не понадобилась. Бунина оставили в покое. Но это не препятствовало тому, что вскоре после этого, прибыв на побывку в Грасс, Жид в первый же день своего приезда вскарабкался на "Жаннетту", чтобы воочию убедиться, что у Буниных все обстоит благополучно.

В свой дневник он записал, что несмотря на взаимное и искреннее желание, подлинный и душевный контакт между ним и Буниным не состоялся, объясняя это тем, что "один слишком мало ценит то, чему поклоняется другой". Жид тут же отмечал, что бунинский культ Толстого стесняет его не меньше, чем презрение к Достоевскому. "У нас разные с ним боги", – резюмировал он эту встречу, подчеркивая, что "в течение всей их беседы Бунин был на редкость очарователен, и его красивое лицо, хоть и морщинисто, но все еще полно огня".

Жид впоследствии признавался, что, собственно, кроме "Деревни" да еще "Господина из Сан Франциско", ничего бунинского не читал, каково ему было, когда Бунин сразу же стал его убеждать, что "Деревня" – незрелое произведение, мало для его творчества характерное, и судить о нем по этой книге зазорно. Кстати, восхваление "Деревни" даже раздражало Бунина. "Что мне все тычут в нос "Деревню", – не раз говорил он, – разве я ничего другого не написал?".

Но все же, если взаимного душевного общения и не вышло, то и Бунин со своей стороны сразу же оценил Жида-человека, о Жиде-писателе он знал скорее понаслышке. Потом он часто его посещение вспоминал, приговаривая — "умнейший и очаровательный старик", ставя ударение на слове "старик", хотя разница в возрасте между ними была всего лишь на один год.

Я оказался невольным поводом второго и последнего визита Жида на бунинскую виллу. Хозяйка дома, Вера Николаевна, по мере возможности старалась сохранять обычаи старины и очень внимательно относилась к празднованию дней рождения. Неожиданно она мне заявила, что предстоящий день моего рождения будет отпразднован "торжественно" и, чтобы доставить мне удовольствие, она втайне от всех (воображаю, какой ералаш поднял бы Иван Алексеевич!) пригласила Жида.

Опущу сейчас все подробности этого памятного мне дня и неправдоподобную сложность приготовлений к званому завтраку в голодное время, отмечу только, что в тот день никаких литературных стычек не происходило и, вероятно, именно благодаря отсутствию "умных разговоров", которые считаются обязательными в его присутствии, Жид засиделся едва ли не до сумерок. Уже темнело, а так как "Жаннетта" стояла на взгорье и, чтобы спускаться, надо было пользоваться тропой, сокращавшей весь путь, я вызвался проводить его. По дороге мы разговорились и узнав, что я кое-как играю в шахматы, условились встретиться назавтра для поединка. С того дня, пока Жид жил в Грассе,и когда позже перебрался в Ниццу, я виделся с ним довольно часто. И однажды в один из моих визитов к нему в Ниццу, в его отельной комнате я столкнулся с незнакомым человеком. Это был некий швейцарский издатель, который преодолевая все трудности передвижения, вызываемые военным временем, специально приехал из Лозанны в надежде получить от Жида что-нибудь неизданное, благо у вишийских властей и сам Жид, и его книги были "на подозрении".

"Как хорошо, что вы пришли как раз вовремя", — встретил он меня и тут же предложил швейцарцу вместо его книги — по его словам, у него ничего "готового" не было —

издать томик неизданных рассказов "нобелевского лауреата" (этот титул, чтобы заманить издателя, он подчеркивал) Бунина. Потом, ни о чем меня не спрашивая, добавил: "Вот, рядом с вами сидит будущий переводчик, а напротив вас будущий редактор сборника". От этих слов у меня "в зобу дыхание сперло" – я чувствовал, как мне будет и приятно, и лестно работать с Жидом, а главное, сознавал заранее, с какой радостью откликнется на это неожиданное предложение Бунин.

За перевод я засел с увлечением, хотя и не сомневался, что удовлетворить Жида будет трудно. Первые рабочие сеансы с ним (у меня сохранилась моя рукопись, испещренная его пометками) проходили "гладко", но споткнулись мы на любимом Буниным рассказе из "Темных аллей", на "Натали". Жиду рассказ явно не пришелся по вкусу. "Описание грозы, действительно, великолепно, – говорил он. – Это именно тот Бунин, которого я люблю, но в целом рассказ расплывается, в нем отсутствуют острые углы". К редактированию перевода он после этого сразу охладел, да и было ему уже не до того – он готовился к отъезду в Тунис.

Состоялась еще только одна полуслучайная его встреча с Буниным во время завтрака на одном из ниццских поплавков, на которых еще можно было без карточек получить всякие яства, вроде жареной рыбешки. Но и тогда общения между двумя именитыми писателями не вышло, Бунин только как-то невпопад отшучивался и предпочитал вести беседу с двумя-тремя русскими, которые были приглашены на завтрак. А между тем, это была последняя земная встреча Бунина и Жида...

Наступило долгожданное освобождение, и Жид вернулся в Париж. Я иногда заходил к нему сыграть партию в шахматы и поболтать, пока в конце 49-го года он написал мне: "Я получил от Бунина взволнованное письмо, которое причиняет мне боль. Вы – единственный, кто может дать мне совет. Что можно для него сделать? Прилагаемая записка написана неуклюже, поэтому я не решаюсь послать ее непосредственно Бунину. Передайте ее ему, если только думаете, что он будет к ней восприимчив". Содержания записки я в точности не помню, но она очень Бунина тронула.

Примерно годом позже я получил от Жида "пневматичку" (экстренное городское письмо): "Я всячески стараюсь повидать вас и получить кое-какие разъяснения по поводу нашего друга Бунина, чтобы постараться предотвратить неосмотрительность и оплошности, совершенные господином Р." Выяснилось, что дело помощи Бунину, которое Жид готов был возглавить, сорвалось из-за предельного легкомыслия одного из наших соотечественников. Он якобы создал "комитет помощи Бунину", но вся деятельность комитета ограничилась тем, что были напечатаны бланки с блистательным списком членов, большинство которых о своем участии не было даже осведомлено, и конфуз вышел из-за несопоставимости некоторых имен. Огорчение Жида не знало предела, но уже было поздно что-либо поправить, тем более, что сам он доживал свои последние дни.

Все же к бунинскому 80-летию он успел напечатать на первой странице газеты "Фигаро" довольно длинный текст своего поздравительного письма, адресованного Ивану Алексеевичу, – это был его последний привет русскому собрату. Письмо это завершилось словами: "Дорогой Иван Бунин, Франция может гордиться тем, что стала вашим убежищем. Надеюсь, что ваше изгнание в тумане, который обволакивает нас со всех сторон, не было лишено просветов и что у вас еще будет повод улыбнуться жизни и не отчаиваться – у вас есть другое дело". Последние слова письма были как бы ссылкой на давний бунинский рассказ "Сверчок" и только показывают, что Жид был не только дружески к Бунину расположен и высоко ценил его, но продолжал читать его и в последние свои годы. До того – в военное время, когда он встречал Бунина в Грассе или Ницце – он этого рассказа не знал.

## II

Теперь о другом – хочу напомнить, что в посвященной Толстому книге Бунин рассказывает, что "Лев Николаевич в кавказских делах и в осажденном Севастополе всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс. Сидя однажды в севастопольских ложементах, он вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля – увидел крысу".

Думается, что Бунин вспомнил этот штрих из толстовской биографии не спроста, так сказать, для самооправдания. Крыс он, правда, не боялся и я не раз бывал свидетелем эпической картины : он гнался за ними в погребе "Жаннетты", вооруженный своей палкой, и крысы, совершенно обнаглевшие и иногда стаскивавшие со столов что попало, кидались на него и при этом издавали какой-то несносный, удручающий крик или, точнее, визг, который разносился по всему дому. Но зато – я понял это только впоследствии – боязнь крыс Толстым была как бы параллелью к боязни пресмыкающихся у Бунина. Он панически боялся всего, что извивалось, что ползало по земле, не только змей, не только неприятных своим видом ужей, но даже безобидных маленьких ящериц, которые в солнечные дни ползали по нагретым камням на террасе бунинской виллы. Я смеялся над его страхами, потому что маленькие ящерицы были "симпатичны" и, казалось мне, чистоплотны.

– Вы их не знаете, – объяснял мне Бунин, – вы не думаете о том, что их предками были страшнейшие ящеры, какие-то там игуанодоны, картинки которых я с величайшим омерзением где-то недавно видел. Наверное, они сохранили инстинкт предков и только подрастут, черт знает, что наделают !

Я вспомнил о крысах и ящерицах, потому что как-то в неурочный час, как будто во время послеобеденной "сиесты", я спустился вниз со своей "башни" (я унаследовал ее от "барышень"), как вдруг из кухни до меня донеслись отчаянные крики, словно туда проник тигр. Голоса кричавших было даже трудно сразу определить. Я опрометью ринулся

по направлению к доносившимся воплям и увидал нечто гомерическое и совершенно невообразимое: перед моими глазами предстали две вцепившиеся друг в друга фигуры, у одной в руке был топор, тот самый, которым я утром колол дрова на террасе, другая размахивала тяжеленным кухонным пестом, обычно стоявшем в солидного размера ступе на кухонном столе. Это единоборство сопровождалось нечеловеческими криками и потоком самых "утонченных" ругательств, исходивших от обоих бойцов. Я не помню, как я ринулся разнимать взбешенных противников, с каким трудом (и с синяками!) мне все же удалось разнять их и почти силой увести бледного, трясущегося от злобы и негодования Ивана Алексеевича в его комнату.

Такого рода сцены не забываются, но я должен сказать, что в этот день это был в своем роде зенит. Иван Алексеевич, после того, как мне для его успокоения пришлось поить его коньяком (Вера Николаевна была занята "откачиванием" Зурова), поведал мне, что когда он зачем-то пошел на кухню, следом за ним туда буквально ворвался Зуров, который начал буйствовать, обливал его "трехэтажными" эпитетами и обвинял в том, что Бунин без пользы для себя и только, чтобы ему насолить, вырывает из его огорода незрелые луковички и срывает зеленые томаты, что он, мол, их пересчитал и давно за этим следит и, наконец, якобы поймал Ивана Алексеевича с поличным.

Я готов даже допустить, что подозрения Зурова не были измышлением, недаром Бунин когда-то хвастался, что "саботирует" огородные труды ненавистного хозяйского садовника. Но, конечно, центр тяжести не в том, были ли основательны или неосновательны зуровские обвинения.

Схватка на кухне оказалась каплей, переполнившей чашу. Успокоившись, Зуров сам догадался, что ему надлежит, хотя бы на время, испариться и несмотря на слезы и стенания Веры Николаевны, Иван Алексеевич был в тот день неумолим. Зуров был отправлен в "изгнание". "Пусть едет хотя бы на Чертов остров", – кричал Иван Алексеевич бледной Вере Николаевне, не очень умело пытавшейся заступиться за бедного "Леню" и парировавшей нападения Бунина вопросами о том – "Ян, а, может быть, правда, что ты сорвал у него томаты?", – что, конечно, еще больше его раздражало.

Зуров был "сослан", но его "Чертов остров" оказался неподалеку. Он отправился к своему приятелю-куроводу Т., человеку малокультурному, "от сохи", но доброму и симпатичному, который смотрел на Зурова, как лилипут на Гулливера. Зуров сумел его убедить, что он чуть ли не великий русский писатель и не переставал его поучать.

Кстати сказать, я долго хранил молчание об этом тягостном эпизоде и только поведал о нем при встрече Адамовичу, единственному, с кем мог тогда делиться моими переживаниями. К моему удивлению, Адамович, услышав мой рассказ, ничуть не был поражен. "Дорогой мой, – сказал он, выслушав меня, – ведь к этому шло и рано или поздно нарыв должен был лопнуть". Впрочем, Адамович оказался плохим пророком – нарыв не лопнул!

Прошло несколько дней, может быть, неделя. Все время Вера Николаевна была сама не своя, хотя на больную тему не заговаривала, но как-то душевно хирела и скрыть этого не могла.

В один прекрасный день она после мрачного завтрака исчезла, не попрощавшись, не предупреждая о своем отсутствии, что было весьма удивительно и не в ее характере.

Мы остались вдвоем с Иваном Алексеевичем и так как после пережитых "потрясений" он некоторое время не решался отлучаться из дому, мы гуляли с ним по саду.

– Вы, вероятно, догадались, куда исчезла Вера, – сказал он мне, не веря, что я не был поставлен в известность. – Вы должны понять, что в ней говорит неудовлетворенное материнство и с этим я ничего не могу поделать, это у женщин очень, очень сильное чувство. После короткого "карантина" мне пришлось дать свое согласие на возвращение "милого" (он произнес этот эпитет со скрежетом зубовным) Лени. Мне придется дальше продолжать нести мой крест, но у меня нет выхода. Вы видите, что из - за этого переростка она стала худой, как скелет, а куда ей...

А потом добавил: "Бог меня за мои грехи наказывает, а тогда ничего не поделать, надо смириться. Теперь-то вы поняли, почему я вам рассказывал какую-то притчу о стоглавом драконе. Ведь я не уверен, что эти слова принадлежат Саади. Я сослался на него, потому что вы говорили,

что нашли в хозяйской библиотеке какую-то английскую книжку о персидских лириках и с интересом ее читаете, так что в такой форме мое предупреждение должно было произвести на вас бо́льшее впечатление. Ведь и ваш друг – нет, наш общий друг – Адамович нередко пишет: "как, кажется, сказал Плотин или Фома Аквинский" и иди разберись, сказали ли они то, что он им приписывает или нет, зато как красиво и убедительно звучит! Чем я хуже!".

Я был рад услышать эти слова, потому что решил, что его "гнев" спал, но не тут-то было, он тотчас же вернулся к волновавшей его теме. "Нет, что же это за чудовище, которое за все годы, что я его наблюдаю, если какой-либо женщине улыбнулся, то только за приглашение к обеду. Он меня уверял, что связь с женщиной тормозит его творчество, в которое он вкладывает все свои силы и не хочет их зря разбазаривать – слышите меня, все. А я, грешным делом, именно в этом черпал вдохновение, да и не я один. Толстой без этого бы не написал "Анну Каренину", а вот "Зимнему дворцу" это мешает. Да, сейчас он, вероятно, вернется и только, пожалуйста, ничему не удивляйтесь, не ахайте и не охайте. Вам-то что, а я проглочу эту горькую пилюлю, как проглотил те, которыми вы меня сами кормили после "драмы на кухне". А, кстати, недурное заглавие для небольшого рассказа, хотя скажут, что я его стянул у Чехова с его "Драмой на охоте". Нет, беру свои слова назад – даже иносказательно не хочу такую сцену описывать, слишком противно, давайте забудем о том, что было – пусть будет "то, чего не было".

К вечеру Зуров вернулся с "контрибуцией", – куском курицы, который был вручен Ивану Алексеевичу Верой Николаевной и так как, кроме того, он получил еще пять картофелин, то перемирие было "подписано". На какой срок?

*

Я уже говорил о том, что в общем уравновешенный и часто таивший свои чувства в себе Иван Алексеевич мог иногда "воспламениться", а в другой раз не умел дать казалось бы необходимый отпор. Кто из нас не создан из противоречий?

Перечитывая недавно бунинскую монографию "Освобождение Толстого", я впервые обратил внимание на то, что комментируя толстовскую запись в одном из его дневников (Толстой записал: "Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю"), Бунин сделал характерную для него и отчасти выдающую его лаконическую, почти незаметную сноску, собственно, прямого отношения к толстовскому тексту не имеющую!

"Одна из важных черт его (толстовского) характера: он был очень застенчив" – приписал Бунин.

Сперва диву даешься. Толстой с его мировой славой; Толстой, на поклон к которому ездили в Ясную Поляну из всех частей света; который ниспровергал Шекспира и Бетховена; который в письме к Николаю II обращался к нему "любезный брат" – и вдруг... застенчив. Но, оказывается, одно может уживаться с другим, и Бунин, вероятно, тем охотнее вгляд備 в эту черту толстовского характера, что по существу и сам был застенчив, а ведь любой параллелизм с характером Толстого, с его поступками, даже с его недостатками, если только он мог их как-то учуять, был для него "слаще меда".

Да, Бунин был по природе застенчив. Был он застенчив, несмотря на видимость агрессивности, на врожденную насмешливость, на великое множество бьющих в точку злых стрел, направленных против своих современников, иногда даже литературных друзей, на унаследованную им от отца любовь к нецензурной ругани, на то, что ему иногда в применении к себе хотелось бы употреблять некий "pluralis majestatis".

Казалось бы, все это не с руки человеку застенчивому. Но если всмотреться попристальнее, без предвзятых мыслей, то легко можно увидать, что многое из того, что в его поступках воспринималось как проявление аррогантности, как задиристость, вызывалось именно его врожденной застенчивостью, какой-то, если хотите, робостью и стыдливостью – и да не осудит меня нелюбимый Фрейд – своего рода комплексами, в которых он, несомненно, отдавал себе отчет.

Я имею основания думать, что нередко он был неспособен принять то или иное решение, которое подсказывалось ему разумом или практическими соображениями, не в силах был обрубить с размаха единым ударом, какие - то угнетавшие его "узлы" именно из-за своей – толстовоподобной! – застенчивости. Но и обратно, этой же полускрытой стороной его характера можно объяснить – и я далек от мысли изрекать какие-то парадоксы – некоторые его "эскапады", некоторые едва ли не спровоцированные им самим инциденты, в которых погодя – наедине с собой – он неизменно раскаивался и их болезненно переживал.

Довольно выпуклой иллюстрацией к этому можно счесть весьма нелепый случай, подробно расказанный Натальей Кодрянской на страницах бунинского тома "Литературного наследства". Оговорюсь при этом, что я на этом вечере не присутствовал, но вполне ясно представляю все происходившее.

Я ссылаюсь на рассказ о том, как Кодрянские, дружившие с Буниным и нежно опекавшие Ремизова, как - то "невзначай" привели его в бунинский дом, в котором за долгие годы совместной парижской жизни он никогда до того не бывал. В этот вечер у Бунина собралось небольшое общество, и увидя неожиданного гостя, Иван Алексеевич пошел к нему навстречу и, отвесив утрированно низкий поклон, произнес как бы с насмешечкой и подделываясь под народный лад: "Здорово, старче". Ремизов растерялся, и наступило тягостное молчание, а спустя несколько неловких минут Бунин поднялся со своего насиженного кресла и к гостям больше не выходил.

На следующий день Вера Николаевна, в роль которой входило сглаживать все шероховатости, пришла к Кодрянским с объяснениями. По ее словам, Бунин был настолько смущен и сконфужен неожиданным появлением Ремизова из-за того, что буквально за несколько минут до этого поносил "ремизовский" язык, ругал самого Ремизова за то, что он как-то сказал, что Пушкин "писал не совсем по-русски", за все его "сны" и "дурачества".

Увидав неожиданно перед собой того, кому он вот-вот устраивал "вселенскую смазь", он так растерялся, что

"бежал" в другую комнату и отсиживался в ней. Факт, конечно, незначительный и тем более несущественный, что между обоими писателями отношения скоро были восстановлены, и Бунин иногда захаживал к теряющему зрение Ремизову. Но, если только вдуматься: мог ли так неучтиво поступить человек не смущающийся и не застенчивый, притом достаточно опытный, чтобы найти какие-то слова, которые бы все сгладили и обратили в шутку, хотя бы неудачную?

Но, кстати сказать, аналогичных фактов можно было бы при желании подобрать целую коллекцию. Именно застенчивостью и только ею можно объяснить, что ему никогда не удавалось установить подлинно дружеских отношений ни с одним из его иностранных коллег по перу — с Рильке, с Мориаком, с Андре Жидом, которые искренно стремились к какому-то сближению. Добавлю, что мешало отнюдь не недостаточное знание французского языка — он почти также стеснялся "русских французов", таких, скажем, как Кессель или Эльза Триоле — и для них он не находил нужных слов.

А ведь достаточно вспомнить — и это, собственно, явление того же порядка — его рассказ о том, как в ранней молодости, живя в отцовском имении, он решил во что бы то ни стало повидать Толстого, благо Толстой жил неподалеку. Чуть ли не галопом он доскакал до Ясной Поляны, но в последнюю секунду его одолела робость, и он, чуть не загнав своего коня, тем же темпом вернулся "не солоно хлебавши" домой. А уже в зрелом возрасте ему как-то случилось встретить Толстого на одной из арбатских улочек. Толстой узнал его, но и тут разговора, о котором он так долго мечтал, не вышло. Бунин сам признавал, что так растерялся перед своим кумиром, что не нашел, что сказать, чтобы задержать внимание Толстого.

Вспоминаю другую "мелочь", которая в те дни казалась катастрофой. В период сравнительно безобидной итальянской оккупации Грасса, как раз в день, когда я отлучился из дому, нарочный привез из мэрии повестку, извещавшую, что вилла "Жаннетт" как "неприятельская" собственность (Бунин снимал ее у англичанки) реквизируется

для нужд итальянского военного командования и должна быть очишена в предельно краткий срок.

Когда я к вечеру вернулся, стенаниям, "ахам" и "охам" конца-краю не было. Хмурый, точно почерневший Иван Алексеевич паковал чемоданы, честя "дуче" в соответствуюших выражениях.

Мои уверения, что утро вечера мудренее, никак не действовали.

Я случайно знал, в каком из больших отелей обосновался итальянский штаб. До того я часто бывал в этом отеле, пока там жила одна моя приятельница и успел перезнакомиться с рядом его служащих. На следующее утро я помчался туда ни свет ни заря и упросил одного из моих отельных "знакомцев", прислуживавших самому командующему, устроить мне у него аудиенцию.

Важный генерал принял меня незамедлительно и я, мешая языки, попытался ему разъяснить – какое несправедливое и набрасывающее тень на всю Италию решение было принято по отношению к всемирно известному писателю, переведенному на итальянский язык Нобелевскому лауреату. Я мог сразу же обнаружить, что генерал о Нобелевской премии имеет смутное представление, но мой "нахрап" все же подействовал : чуть стесняясь, генерал дал мне понять, что, собственно, никакого распоряжения о реквизиции какой-то виллы он не отдавал, такого рода пустяки его вообще не касаются, а это дело рук его квартирмейстера и ему теперь надлежит действовать дипломатично, чтобы "не раздразнить гусей", то есть, чтобы реквизиция бунинской виллы была аннулирована, мол, не по его приказу, а по инициативе его подчиненного. На этих словах он протянул мне руку и улыбаясь, буркнул что-то вроде que sera-sera...

Между тем, на "Жаннетте" чемоданы – откуда их было такое количество! – продолжали беспорядочно наполняться, а в передней гора наспех связанных узлов не переставала расти, пока на следующий день к вилле не подкатил военный автомобиль с бравым итальянским полковником и сопровождавшим его адъютантом. Иван Алексеевич из своего окна первым увидал "гостей", успел куда-то упрятаться и только крикнул мне : "Вы ее заварили, теперь эту кашу расхлебывайте!"

– Я приехал повидаться con grande scrittore, – сказал полковник, – принести ему лично наши извинения и объяснить, что произошло недоразумение – я воочию увидал, что вилла нам не подходит.

Быстрее стрелы я взвился к Бунину: шутка сказать, ведь дело шло о "спасении" насиженного гнезда. Не тут то было: я нашел Ивана Алексеевича за какими-то ширмами в его ванной комнате, трясущимся от ужаса при мысли о том, что ему предстоит вести какие - то переговоры с итальянцем. "Нет, как я покажусь ему в халате, что я ему скажу, вдруг вырвется что-нибудь о "дуче". А тогда что? Я не Мережковский, чтобы уподоблять его Данте! Наврите сами что-нибудь вразумительное!"

Вышла небольшая неловкость, когда я стал объяснять пришедшим, что grande scrittore из-за всего этого инцидента с виллой так переволновался, что лежит без сил, не может встать, и мы, мол, ждем доктора.

Полковник был обескуражен, потому что оказалось, что он страстный собиратель автографов (очевидно, он был культурнее своего генерала), и ему особенно хотелось приобщить к своей коллекции автограф Нобелевского лауреата – собственно ради этого он и приехал самолично! Я попросил его заехать в другой раз, но этого другого раза не наступило – нашему полковнику вскоре стало не до автографов... Дело с реквизицией виллы кончилось благополучно, чемоданы были распакованы, но как-никак бунинская застенчивость могла легко привести к прискорбным, в первую очередь для него самого результатам.

*

В бунинской биографии своего рода культ Толстого – факт достаточно известный, недаром его воспоминания о Толстом начинаются словами: "Я чуть не с детства жил в восхищении им, а затем долгие годы был по-настоящему влюблен в него". Едва ли в продолжение всей своей жизни решался Бунин отозваться хотя бы с крупицей неодобрения о каком-либо из действий или писаний своего великого современника.

Но в бунинском поклонении Толстому была, – кроме всего, еще одна черточка, которая могла ускользнуть от общего внимания. Она приоткрылась мне почти случайно,

когда я снял со своей книжной полки книгу Полнера "Толстой и его жена", которую когда-то Иван Алексеевич ссудил мне, а я – сознаюсь – намеренно ее "зачитал", прельстившись тем, что она пестрила бунинскими "нотабене", подчеркиванием взволновавших его строк и, главное, рядом замечаний на полях. Я почти забыл о ее существовании, из-за ее внешней неприглядности засунул куда-то вглубь и неожиданно на нее наткнулся. Следовало бы при этом отметить, что с книгами Бунин нередко обращался как вандал, вырывал из них отдельные страницы, уничтожал неугодные ему иллюстрации (впрочем, в моем экземпляре полнеровской книги все страницы были целы !).

А трудом этим он весьма тщательно пользовался при работе над собственной книгой "Освобождение Толстого". Бунин несомненно доверял автору, которому он мог, пожалуй, отказать в яркости таланта, но никак не в желании "кривить душой" или злоупотреблять красными словечками. Бунина прельстило, что в своем исследовании, опубликованном уже за рубежом, Полнер в меру сил старался сохранять полную объективность: это не была апология Софии Андреевны и в то же время сам Лев Николаевич не был выписан иконописно.

*

За недостатком места я, к сожалению, не могу сейчас привести все замечания Бунина, указать на все, что задерживало его внимание или против чего он мысленно возражал. Но по существу дело не в этом. В основном, в полнеровской книге его особенно притягивали и вызывали наиболее нервные, "жирные" синие подчеркивания те факты, которые, как ему представлялось, показывали на некоторую его – хотя бы предельно отдаленную – схожесть с Толстым-человеком. Бунина привлекали (может быть, бессознательно) те замечания или наблюдения, к которым он способен был тут же приписать – "а я?".

Укажу на некоторые примеры. Так, Полнер напоминает – "Творения Толстого теснейшим образом связаны с его интимной жизнью" и немного ниже – "Он жаждал славы. Но никогда не стал бы, как Тургенев, подделываться под

вкусы публики. Все общепринятое, модное, "эпидемическое" было ему ненавистно... В среде литераторов "Современника" он быстро перешел на боевое положение. Здесь все было не по нем: неискренность, погоня за модными демократическими веяниями... В Петербурге Толстой вел беспорядочную, бурную жизнь и не только не скрывал своих похождений, но даже бравировал ими, и в то же время в душе его происходила сложная работа самонаблюдения, раскаяния, самосовершенствования..."

Рядом с этими строками, почти демонстративно отчеркнутыми Буниным, тут же на полях книги приписано им: "В сущности, и я был очень скрытен. Жизнь моей души и жизнь...". Здесь многое, очень многое можно подразумевать.

Бунин обвел также густым штрихом замечание о том, что "по мнению Тургенева, Толстой никогда не верил в искренность людей".

Далее Полнер пишет, и я угадываю радостную улыбку Бунина при чтении этого пассажа: "Школьной дисциплины Толстой не знал... В сущности он воспитывал себя сам и потому привык полагаться во всем на себя. К наукам казенным он относился равнодушно и учился плохо, зато с ранних лет много читал". Сбоку бунинское примечание: "И я ни к чему учебному не готовился".

Полнер указывает, что, бросив университет, Толстой уехал в деревню, но устраивать "счастье" яснополянских крестьян оказалось не так просто и следующей осенью он бежал из деревни и всем существом погрузился в соблазны Москвы. Но и такая жизнь не всегда удовлетворяла Толстого: он раскаивался, каялся, ехал на исправление в деревню... и эта "ванна деревенской жизни" стала ему необходимой. Выходя из вагона и вслушавшись в тишину зимней деревенской ночи, он испытывал чувство, похожее на восторг...". И чуть дальше: "Модные идеи не имели над ним власти. Он продолжал заботиться о своих "подданных", основал школу и, когда бывал в деревне, вносил в нее много ласки, жизни и шумного веселья, отвергая всякие определенные методы обучения". Бунин вторит точно эхо: "Толстой о своей среде. И я о своей... И я возвращался

в деревню... – и словно в скобках горький вопрос: "Чем я жил? (в смысле денег) – и без перехода: "И я учил мальчишек и отверг общее" с таким типично бунинским заключением: "Страсть, страсть..."

Полнер цитирует отрывки из письма Толстого его старой приятельнице и дальней родственнице, фрейлине Двора, Александре Толстой. "Спокойствие, – писал ей Лев Николаевич, – душевная подлость. От этого дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда". Тут Бунин как бы в унисон: "А потом и я уже не мог писать, все точно "кипело".

Полнер подчеркивает, что уже в шестидесятых годах, наряду с признаниями, что "он счастлив, как один из миллиона", не раз проскальзывают у Толстого многоговорящие строки – "С Соней в холоде", "С Соней что-то враждебно". Если только судить по нервности подчеркиваний, эти переливы настроений у Толстого вызывали у Бунина настороженное внимание. Не менее очевидно, что он пристально вдумывался в описанные Полнером толстовские переживания: "У Толстого не раз выплывали наружу странные мысли и сны, имевшие для него такое же значение, как для Анны Карениной ее вещий сон. Такие неожиданные "пророчества" у Толстого ничем не были связаны с поступками его в ближайшем и отдаленном будущем. Толстым двигали другие силы и невозможно решить: были ли это проявления глубин подсознательной жизни или просто случайные совпадения мимолетной мысли с отдаленной во времени действительностью". Бунин тут не удержался, чтобы не приписать: "Намерения мои также не были связаны с поступками".

Но вот, конечно, "пустячок". Было ли это ему ведомо до чтения книги Полнера или он узнал из нее впервые – установить не могу. Но Полнер рассказывает о том, как Горький читал Толстому свою пьесу "На дне" и сам Горький затем признавал, с каким тяжелым неудовольствием Толстой слушал это чтение, прерывал автора, еле сдерживал свое отвращение, а по окончании чтения строго спросил

Горького – "Зачем вы это написали?". Бунину было, конечно, лестно, что его оценка нашумевшей пьесы Горького совпала с толстовской, и ряд его восклицательных знаков сбоку от описания этого эпизода достаточно красноречив.

Но было и другое. Мучительные переживания видимо рождались у Бунина при рассказе о том, что у Толстого "припадки тоски вызывались не только боязнью смерти, но и ужасом перед бессмыслицей жизни, кончающейся смертью. В "Записках сумасшедшего" Толстой не зря писал: "Я живу, жил и должен жить, и вдруг – смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить стало быть. Но зачем? Чтобы умереть?". Здесь Бунин, видимо, даже не нашел нужных слов, чтобы откликнуться на эту цитату. Он только непомерно резкими штрихами выделил весь абзац, подчеркивая отдельные слова. Несомненно они его глубоко задели, потому что в точности отражали те заветные думы, которые его никогда, собственно, не покидали, и, может быть, для него в какой-то мере было облегчением, что в этом – основном – он как бы перекликался с Толстым.

Хоть он открыто никогда не высказывал, но находить в биографии Толстого какие-то штрихи, которые были приложимы и к нему, приносило ему большое удовлетворение. Такое маленькое, очень человеческое тщеславие придает личности Бунина какой-то дополнительный рельеф, и тем понятнее становится, что он многократно подчеркнул слова Софьи Андреевны: "Да, 48 лет я прожила со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он за человек...".

*

Не хотел бы давать повод к каким бы то ни было сравнениям, но невольно приходит в голову вопрос – а Вера Николаевна, прожившая с Иваном Алексеевичем примерно столько же лет, сколько Софья Андреевна с Львом Николаевичем, узнала ли она, что он за человек? Разгадали ли его до конца люди его окружавшие или "инженеры человеческих душ", которые были ему в разные периоды его жизни близки? Кстати, думается мне, что Максим Горький, который в свое время встречался с ним подолгу и чаще других, меньше всех его понял.

*

В тот период моей жизни, который проходил под бунинской кровлей, я, кажется, ничего так не любил, как в летние месяцы прогулки с ним, когда случалось совершать их "с глазу на глаз". Тогда – как начинало темнеть – мы подымались по Наполеоновой дороге до небольшой поляны, у которой эта дорога разветвлялась. Там с наступлением ночи тучами кружились средиземноморские светляки – "лючиоли", своим фосфорическим светом словно озарявшие всю окрестность. Бунин питал к этим миниатюрным созданиям своего рода нежность и мог подолгу следить за их безостановочным кружением.

На поляне, у самой развилки, торчал старый пень, на который он всякий раз усаживался, чтобы отдохнуть, попривередничать по поводу скудости грасской жизни и выразить недовольство тем, что военные события развертываются в слишком медленном темпе. А побрюзжав, он начинал что-то рассказывать, нередко такое, о чем в другой обстановке он едва ли стал распространяться, а то касался литературных тем, делясь мыслями, возникшими у него после того, как он, вероятно, в сотый раз перечитал те несколько книг, которые хранил в своем бельевом шкафу, и которые, кстати сказать, очень неохотно давал на прочтение даже своим домочадцам. Почти неизбежно в какой-то момент он возвращался к Толстому. Без упоминании имени Толстого не обходилась, кажется, ни одна прогулка.

Вспоминается, как при одном из таких вечерних хождений он все жаловался на бессоницу, утверждал, что ему больше не помогает снотворное и добавил, при этом, что как только открывает глаза, начинает думать о смерти и тогда в его памяти невольно всплывает одно из толстовских писем, которое он словно заучил наизусть, так как мог его цитировать почти безошибочно.

Толстой, как говорил Иван Алексеевич, писал в этом письме, что нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет и затем, – "к чему все, если завтра начнутся муки смерти и "забавная штучка" (Бунин подчеркнул, что это подлинные слова Толстого) – все кончается ничтожеством, нулем для каждого из нас".

А в заключение Бунин пояснил, что в этом не перестававшем его волновать письме, адресованном Фету, Толстой описывал смерть своего любимого старшего брата, отмечая, что за несколько минут до конца, "Николай задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал — "Да что ж это такое". По толкованию Льва Николаевича, "это он ее увидел — поглощение себя в ничто".

Полет "лючиол" на несколько мгновений перестал тешить Бунина и он почти в страхе произнес: "Эти толстовские слова из письма к Фету я не в силах забыть, все о них думаю, "поглощение себя в ничто", что может быть страшнее?".

Вслед за тем, чтобы рассеять мрачные мысли, и по ассоциации идей вспоминая о дружбе Толстого с Фетом, он стал рассказывать, что прошлой ночью снова перечитывал "Казаков", потому что именно Фет, проведав, что Толстой не намерен кончать начатую повесть, настаивал на ее продолжении и как Толстой шутливо отвечал своему другу "Не искушай меня без нужды / лягушкой выдумки твоей" и что-то еще в том же тоне и только спустя несколько лет внял фетовским увещаниям.

"Кажется, каждое слово в "Казаках" помню, — продолжал Бунин, — а все-таки всегда тянет перечитывать их. Пусть это еще не вполне зрелое произведение, пропитанное идеями Руссо, но в нем уже ясно ощущается толстовский размах, его "почерк". Какие-то дураки в свое время нашли в нем какие-то недостатки, объявили, что повесть, мол, неактуальна, архаична, не разрешает никаких проблем... Ох, эти "проблемы"! Предоставьте разрешать их Боборыкину! Я бы, кажется, полжизни отдал, чтобы научиться подражать толстовским "промахам". Стоило бы только напомнить описание первого впечатления Оленина от кавказских гор, его слова, что горы и облака имеют одинаковый вид: что-то серое, белое, курчавое и их красота "такая же выдумка как музыка Баха или любовь к женщине". А слово "любовь" Толстой велел набрать курсивом!". Весь Толстой в этом...

Немного задумавшись, продолжал: "А перечитывая "Казаков", только об одном жалел: о том, что одновременно не могу еще раз прочесть "Охоту на Кавказе", о которой вы, наверное, и не слыхали. Знаем мы вас...".

Я пробормотал что-то невнятное, потому что догадывался, о чем говорит Иван Алексеевич, хотя названного им очерка, действительно, никогда не читал.

– А ведь это подлинно прекрасная вещь, точно стараясь меня в чем-то убедить, – почти с волнением в голосе воскликнул Бунин. – Да могло ли быть иначе, коли ее автором был такой удивительный человек, как Николай Толстой. Если вам представится возможность, непременно прочтите эту повесть, даже если вы ничего в охоте не смыслите. Когда я писал мою книгу о Толстом, мне хотелось уделить в ней хотя бы несколько страниц его брату Николаю, но у меня не было достаточно материалов под рукой. Ведь Николай Толстой умер задолго до моего рождения. Мой отец его раз-другой встречал, и говоря о нем, едва удерживал слезы, а ведь сентиментальностью отец не отличался. А кто теперь Николая Толстого вспоминает? Вы только прочтите, что о нем думали Тургенев и Фет, который в своих весьма непритязательных воспоминаниях писал, что "Николай Толстой был замечательным человеком, про которого мало сказать, что все знакомые его любили – они его обожали". Николай, собственно, бесшумно проводил на практике многие из тех идей, которые развивал его брат в своих теоретических построениях. А Тургенев утверждал, что Николай потому не сделался писателем, что был лишен тех недостатков, которые нужны, чтобы им стать. Вы, конечно, понятия не имеете о том, что эти тургеневские слова Толстой приводит где-то в своих дневниках и вы даже не догадываетесь, как часто я о них думаю. Как же мне быть к ним равнодушным, когда писательство – мое ремесло, и не зря в моем паспорте значится "homme de lettres"! Ведь писательство – единственное, что я по-настоящему умею делать, что меня кормит, не только дает хлеб насущный, но и ту радость, которая помогает жить даже в нынешних проклятых условиях, когда утром не знаешь, что будет к вечеру. Ведь у меня всегда в голове бродит мысль о том, что мне еще осталось дописать, как получше досказать, что было когда-то пережито или чему я был свидетелем – ведь я не выдумщик и не фантазер, и пишу только о том, что знаю. Но, конечно, как у каждого

писателя, есть и во мне элемент тщеславия – отпираться не стану – иной раз какая-нибудь паршивая рецензенка выводит меня из себя, хотя я тут же сознаю, что никакого значения она не имеет, моей репутации не повредит, как возвышенные слова не вознесут на Олимп.

– Да, – прервал я его, – вспоминаю, как вы печатно на меня огрызнулись, когда я заикнулся о некоторой автобиографичности Арсеньева...

– Не отвлекайте меня от того, что я хочу еще досказать об "Охоте", – улыбнулся он. – Повторяю, постарайтесь прочесть ее и вы увидите, как она удивительно прозрачно написана, с таким легким юмором, что, ей-же-ей, стоит "Записок охотника". У этого дилетанта полезно поучиться любому профессионалу. Он не мудрствует лукаво, пишет о том, что видел, но как поэтично все передано, а его Епишка, конечно, прообраз более колоритного дяди Ерошки, которому Лев Николаевич как-никак придал известную тенденциозность, пожелав изобразить его, как представителя природного начала. Ведь недаром оба брата проживали некоторое время вместе в той же гребенской станице, встречали тех же людей – так что совпадения неминуемы.

Молодцы были редакторы "Современника", – не успокаивался Бунин, – что охотничий очерк никому неизвестного Николая Толстого поместили на первом месте в одном из номеров своего журнала. Некрасов не вполне зря признавал, что "рука Николая Толстого тверже владеет языком, чем рука его брата" и что "далекость от литературных кругов имеет свои преимущества". Какая умница – Некрасов, которого вы, конечно, не любите. Где вам? Вам бы только запускать в небеса ананасом! (Это был любимый бунинский припев при разговорах со мной).

*

Когда представилась возможность, я стал старательно разыскивать переиздание "Охоты на Кавказе", выполненное в двадцатых годах Гершензоном. Мне так хотелось поднести эту книжечку, ставшую библиографической редкостью, Ивану Алексеевичу, заранее предвкушая, как он ей обрадуется. Поиски мои не оказались тщетными, но беда

была в том, что книжонка попалась в мои руки слишком поздно: Бунина уже не было в живых.

А теперь, сняв с полки эту маленькую тетрадку, которая стала мне особенно дорогой после описанной прогулки, я вспомнил, как Бунин, ненавидевший посещение кладбищ, говорил тогда, что непременно съездил бы в Иер – благо от Грасса это недалеко – поклониться могиле Николая Толстого, если бы только мог предполагать, что она сохранилась. Вспомнилось еще, что по дороге домой, все мрачнея, он бормотал – "Поглощение себя в ничто. Что страшнее этого?"

Может показаться странным, что невеселые мысли, которые в ту пору неотступно преследовали Ивана Алексеевича, не мешали ему почти безостановочно работать над рассказами, вошедшими в сборник "Темные аллеи" – рассказами о любви, иной раз трагическими, но иной раз в какой-то мере "озорными". Впрочем, так ли это "странно"? Не была ли внутренняя тематика этой книги своего рода "самозащитой", попыткой заглушить наплыв навязчивых мыслей?

*

Я теперь горько сожалею, что в течение нашей затянувшейся "зимовки на Фраме", как обитатели "Жаннетты" именовали свое тогдашнее житье-бытье, я не вел дневника систематически.

Не говоря о том, что во мне отсутствуют Эккермановские задатки, в свое оправдание скажу, что я перестал записывать мои разговоры с Буниным по двум веским причинам. Во-первых, постоянно общаясь с человеком, даже выдающимся, постепенно притупляется впечатление от его высказываний, невольно он иной раз повторяется и записывать слышанное уже не охота. Во-вторых, время было грозное, а Бунин всегда побаивался возможных обысков. Однажды случилось даже, что во время моего отсутствия из Грасса он самовольно сжег какие-то мои письма и бумаги, хранение которых казалось ему небезопасным. Еще хорошо, что он не наткнулся на мою "черную тетрадь" с записями о нем. Ее он – могу смело предположить – наверняка бы уничтожил, конечно, не во имя какой-либо "политики"!

Я не обучался стенографии и за дословность всего того, что я записал, ручаться не могу. Скажу только, что все мои отрывочные записи я всегда вел "по живому", по мере сил стараясь в них передать интонации Бунина, мне казалось, что часто они значительнее возможных погрешностей в самом содержании.

Возможно, что кое-что из того, что записано мной, могло быть записано и другими его собеседниками. Я ничего не сверял и едва ли знаком со всей "бунинианой". Но, если мои предположения могли бы подтвердиться, я был бы этому только рад. Это было бы лишним подтверждением точности моих записей.

В "хаотичных" заметках на следующих страницах я привожу, казалось бы, маловажные факты, иной раз о которых и вспоминать не стоит. Но, как в работе детектива всякая мелочь помогает проникнуть в суть дела, так и мне представляется, что некоторые из такого ряда "пустоватых" записей способны лучше раскрыть человеческий облик писателя, чем некоторые ученейшие трактаты с перечислением тех имен, которые на данного автора оказали больше всего влияния.

*

Чуть ли не в первые дни моего пребывания на "Жаннетте" Бунин припомнил, как в какой-то южно-русский провинциальный городок приехала на гастроли еврейская драматическая труппа. Городок украсился плакатами, рекламирующими постановку новой пьесы – "Дер запаснер солдат". Эту афишку он запомнил, как запоминал все мелочи, резавшие его ухо.

Так как за неимением других туалетов я долгое время ходил в солдатских брюках, которые мне удалось перекрасить, он стал называть меня "Дер запаснер солдат".

Когда я запаздывал к завтраку, торжественно возвещавшемуся гонгом, что так не вязалось со скудостью трапезы, он смеясь спрашивал: "Куда запропастился лев Сиона?", а если я спускался в столовую до него неизменно приговаривал: "А, газель Сиона уже здесь".

Потом, чтобы утешить меня, утверждал, что он – старый охотник, вероятно, львов не боялся бы. Впрочем, добавлял он, до них я никогда не добирался. Ниже Ассуана не

спускался, а там они еще не водятся. Вот змеи и всякие пресмыкающиеся с детства вызывают во мне такое отвращение, что при их виде я готов вопить благим матом, и прихожу в панику даже если на моей дороге ворочается вполне безобидный уж. Недаром он породил слово "ужас"!

Зато я не раз присутствовал при его единоборстве с огромными крысами, иной раз забиравшимися в наш погреб и при одном виде которых вопить был готов я.

*

Обычно до завтрака он не одевался и появлялся в столовой в потрепанном бархатном шлафроке с ермолкой на голове и с дымящейся, вставленной в неприглядный вишневый мундштучок папиросой во рту. Эта самая ермолка и грошевый мундштучок то и дело куда-то исчезали. Ермолка подло проваливалась за кресла, мундштучок прятался в ворохах рукописей, за стопкой книг.

Я тоже принялся за поиски "беглецов". В его большой комнате, из пяти окон которой в ясную погоду вдали виднелось море, серовато-синее в это время года, и точно стоявший на посту Антибский маяк, я неловко грохотал креслами, лазил под кровать, перебирал исписанные его таким ясным и молодым почерком большие листы бумаги. Ермолка не находилась, мундштук не давал о себе знать. Он иронически наблюдал за моими поисками и вдруг, посмотрев на меня, почти со злобой процедил:

– А Гёте ненавидел людей с очками...

– Спасибо.

– Да ведь у меня у самого две пары. Это я так, к слову пришлось!

Но вообще какое-либо сопоставление с Гёте, указание на совпадение каких-либо черточек, на биографические параллели для него слаще меда. Пожалуй, это ему больше льстит, чем всякие наивные сопоставления с другими великими предшественниками, хотя, если только вдуматься, Гёте, по существу, был ему совершенно чужд, да едва ли он его хорошо знал.

В связи с этим вспоминается, как перед самым отъездом Алданова в Америку мы поехали в Ниццу, чтобы попрощаться с ним. Сидели втроем в большом и в ту пору весьма унылом кафэ, в которое Бунин по старой памяти любил

забегать. Предстоящее расставание с Алдановым его угнетало и он был крайне грустен. На прощание мы выпили по рюмке коньяку, который Бунин заботливо принес в своем кармане в каком-то пузырьке, зная, что в этот день спиртное не подавалось. Напоследок он стал рассказывать Алданову, что работает теперь с огромным, уже много лет не испытанным увлечением, запираясь с утра до вечера в своей комнате, а иногда работая и по ночам, работает над циклом любовных рассказов, местами настолько откровенных, что не знает, сможет ли он их когда-нибудь напечатать. "Пора же, наконец, и нам называть вещи своими именами, – добавил он, – мы выросли из детского возраста!".

– А знаете , – заметил Алданов, ерзавший на стуле, – в Прусской Государственной библиотеке хранятся рукописи Гёте. Среди них большой запечатанный пакет с эротическими новеллами, которые Гёте писал на склоне дней, в последний веймарский период своей жизни. До сего дня этот пакет, несмотря на смены режимов, никому не выдавался и эти рассказы так и остаются неизданными. Я всегда утверждал, что у вас кое-что от Гёте!

Бунин был на седьмом небе, услышав этот комплимент – очень для Алданова характерный.

*

Коридор на "Жаннетте" погрузился в тьму, что-то приключилось с выключателем. В потемках я долго возился с проводами, конечно, ничего не починив. На следующее утро Бунин сам все кое-как наладил и горд был этим необычайно, по-мальчишески.

– Я гениален, – смеясь, кричал он на весь дом, – чем не Леонардо да Винчи. Вот увидите, я еще что-нибудь из рук вон выходящее изобрету, дайте только сообразить, чего на земле не хватает!

*

Мне очень нравились его рассказы последнего любовного цикла, над которыми он работал, не зная перерывов. Домашние предлагали для будущего сборника различные заглавия, сам он еще ничего не мог придумать, но потом пришел к завтраку радостный и сказал, что лучше, чем озаглавить весь сборник по одному из рассказов – "Темные аллеи" и не придумать.

А затем, обращаясь ко мне:

– Вот погодите, я еще напишу рассказ о ваших предках филистимлянах, это нынешние бедуины, какой-нибудь особенно похабный рассказ и посвящу его вам.

Потом я неоднократно приставал к нему:

– Ну, как же моя филистимлянка?

– Нет, не могу, честно хотел выполнить обещание, но ничего не выходит. Не знаю достаточно хорошо их быта и не могу влезть в шкуру такой женщины. А как же тогда писать?

*

Давать на прочтение свои ненапечатанные вещи не любит. Приходится его подолгу упрашивать, а когда он согласится, непременно добавит: "Только потом спрячьте, никому не показывайте, чтобы никто не видел".

Я уже несколько дней прошу его дать мне прочитать последний его рассказ, только что начисто переписанный на машинке Верой Николаевной. Он и сам подзадорил мое любопытство, спросив: "Вот вы не читали мой последний рассказ, еще ничего о нем не знаете. Называется рассказ "Генрих". Расскажите мне, каким вы себе этого Генриха представляете. Это интересная игра, хотя игр терпеть не могу".

На сей раз он долго упрямится, отговариваясь:

– Да вам и неинтересно... Вы – сноб, вы ненавидите "сказал он", "сказала она". Впрочем, ненавижу это и я, а попробуйте обойтись.

И, как это уже было не раз, рассказа сразу не дал, но принес его, когда я уже лежал в постели – "Вам на сон грядущий полезно!".

*

Как будто невзначай:

– Наши предки хороши. Невообразимые шубы до полу. аршинные шапки до облаков, какие-то нелепые воротники, парча – словом, идолы. Слава Богу, что во мне не чистая русская кровь...

*

Он очень тщательно и на мелкие клочки разрывает свои черновики, методически засовывает их в камин, от которого не отходит, пока последний листочек не превратится в пепел.

– Не хочу, чтобы кто-нибудь любовался потом моим пищеварением. Вот Толстой сохранял свои рукописи и теперь все, кому не лень, копаются в его грязном белье. Черновики обязательно надо уничтожать. Да заодно и письма.

*

На его письменном столе много папок и тетрадей в твердых переплетах. В них он заносит всякую всячину, материалы для будущей работы, выписки из книг. На толстой холщевой тетради крупными калиграфическими буквами наклейка с надписью: "Копилка" и ниже "Земля и люди".

*

– Что вы знаете об Антигоне?

– Это была дочь Эдипа, которая...которая...которую за что-то присудили к смерти...

– Это-то и я знаю. Постарайтесь мне назавтра обнаружить ее биографию.

У меня нет под рукой Софокла, да и где его в Грассе достать. Я роюсь в каких-то английских словарях, благо "Жаннетта" принадлежала какому-то английскому филологу-богослову и в библиотеке были кое-какие словари классической древности. Перед обедом в нескольких словах передаю ему трагическую жизнь софокловой героини.

Потом выясняю, что один его очень вольный рассказ, первоначально озаглавленный "Анекдот", он переименовал в "Антигону".

– Заглавия рассказов не должны ничего объяснять, – говорит он, – это дурной тон. С какой стати давать читателю сразу же ключ, пускай он хоть немного поломает себе голову над заглавием.

Все же впоследствии он прибавил две-три фразы, как бы поясняя ими смысл заглавия.

*

Иной раз, преимущественно под вечер, он приглашал меня пройтись с ним, хотя почему-то был уверен, что гуляю я неохотно и в связи с этим придумал на мой счет комичную фразу, которая его потешала и которую он не раз повторял. "На природу он смотрел свысока", – произнес он, глядя на меня и точно сам обрадовался своей "находке".

Во время одной из наших вечерних прогулок Бунин, усевшись на свой "любимый" пень, стал повествовать о своих

былых любовных победах, признаваясь, что в юношеские годы в отцовской усадьбе, несмотря на разорение, он все еще почитался "барчуком" и это открывало ему многие двери, но тогда по неопытности он инициативу проявлять не умел. А потом, когда его известность начала расти и, по его словам, женщины льнули к нему, он неизменно проявлял робость и страшился осложнений. Кстати, он утверждал, что в женщине его необычайно привлекают дефекты речи – картавость, неправильное произношение какой-нибудь буквы делают для него женщину неотразимой!

А однажды после долгого разговора о том о сем, он довольно неожиданно, как бы ставя на них ударение, процитировал слова Байрона, сказавшего, что "часто бывает легче умереть за женщину, чем жить с ней". Было вполне очевидно, что эту фразу он где-то случайно прочитал, однако почему-то эти по-байроновски парадоксальные слова его, не терпевшего парадоксов, взволновали и в его интонациях можно было ощутить подлинно трагический оттенок?

*

Я с увлечением читал в те дни "Сагу Форсайтов" Голсуорти.

– О чем же эти сотни страниц? – не без усмешки спросил Бунин.

– История английской буржуазной семьи конца прошлого и начала нынешнего веков.

– А собственно, какое мне до этой семьи дело...

Тут же я рассказал ему, что Голсуорти в одной из своих критических статей, вошедшей в сборник "Замки в Испании", пишет, что если б ему задали вопрос, какой лучший роман во всей мировой литературе, он не задумываясь ответил бы...

– "Война и мир", – прервал меня Иван Алексеевич.

– Да. Голсвуорти так и говорит.

– Угадал-таки, почувствовал, ах, какой молодец... Так о чем, говорите вы, эти самые "Форсайты"... Расскажите подробнее!

*

– Вы как-то утверждали, что каждый человек в течение своей жизни хоть один раз имел намерение покончить с

собой или по крайней мере носился с назойливой мыслью о самоубийстве.

– Да, но это не мои слова. Я вычитал их у Голсуорти и мне показалось, что это неоспоримо.

– Может быть... хотя я не вполне уверен, толком так и не знаю. Но вот какой случай был когда-то со мной. Очень давно это было – в самые допотопные времена, поздней осенью в Ялте. Это было в "чеховскую" эпоху, в пору моей дружбы с ним. Я был молод, свободен, в расцвете сил и едва только становился известен. Какие-то общие знакомые представили меня очаровательной, совсем еще юной барышне – красавице грузинского типа, настоящей Тамаре с огромными, живыми черными глазами, с длинными-длинными ресницами, с еле заметным пушком над верхней губой. Обладала она прекрасным, здоровым молодым телом с каким-то сиреневым отливом, который меня и тогда поражал. Я с места в карьер стал за ней ухаживать, проявляя большое и свойственное моему тогдашнему возрасту упорство. Я долго ходил за ней буквально по пятам, но все было тщетно, ничего не выходило. Красавица моя была непреклонна. Это меня еще больше распаляло и я изнемогал...

Однажды под вечер, после очередного поражения, я в мрачном настроении вышел из моей гостиницы. Хотелось побродить по городу, подышать морем, а вероятнее всего – цели никакой не было, просто оставаться одному стало не вмоготу. На набережной я неожиданно встретил одну элегантно одетую даму из категории "эффектных женщин". До того я с ней раз-другой сталкивался в какой-то холостой компании и знал, что она выступала в каком-то одесском кафешантане, но определенной профессии не имела. В этот злосчастный вечер непреклонность моей Тамары меня настолько бесила, что я искренно обрадовался встрече. Я галантно подошел к полузнакомой даме, для виду поговорил с ней о погоде и пригласил ее пойти поужинать в "Городской сад", бывший излюбленным местом встреч тогдашнего курортного общества. С горя было выпито много водки и шампанского. Утро застало меня в постели веселой и легкомысленной одесситки.

Конечно, в ресторане многие меня видели. К тому же Ялта была так мала и так мало было тогда происшествий, что в нашем, падком на сплетни, кружке сразу же начались всяческие пересуды, которые я обнаружил только впоследствии.

После этого ночного приключения прошел день-другой и я о нем и не думал, потому что с удесятеренной энергией стал волочиться за большеглазой Тамарой. Наконец, ухаживания мои увенчались успехом: она трепетно пала в мои объятия. Мне стыдно теперь признаться, что сейчас я не помню даже ее имени, хотя, может быть, она и вспоминает иногда свой первый эпизод.

Миновал еще день. Гуляя снова по набережной, я повстречал ехавшего на своих рысаках старого приятеля, доктора А. Он сделал знак кучеру, остановился, подозвал меня пальцем и сказал:

– Слушай, Иван, по дружбе я вынужден разоблачить одну врачебную тайну. Бог простит меня за это несоблюдение врачебной этики, но дело слишком серьезно. В "Городском саду" тебя видели в обществе одной дамы. Предупреждаю тебя: она больна...

Я думал, что небо свалилось мне на голову. Я считал себя последним из подлецов. Образ очаровательной молодой девушки маячил перед моими глазами. Что было делать? Я твердо решил стреляться – другого выхода я не видел.

В тот же час, ни с кем не прощаясь, не упаковав чемоданов, я, как безумный, умчался в Москву, чтобы как-нибудь наспех ликвидировать дела и расчеты с жизнью.

По дороге я все же чуть остыл и брату удалось уговорить меня сперва обратиться к специалистам. Я обошел всех наиболее знаменитых. Никто ничего не нашел. Я недоумевал.

Прошло несколько лет и я почти забыл об этой истории. На каком-то званом обеде моим соседом оказался мой ялтинский приятель-доктор, которого я не видал с того злополучного дня. Увидя меня, он саркастически улыбнулся, а после обеда, улучив минуту, подошел ко мне и назидательно пробурчал в свою торчащую лопатой бороду (с тех пор ненавижу эти благородные бороды!):

– То-то же, молодой человек, это я вас тогда умышленно напугал. Пусть это послужит вам уроком. Впредь будете осторожнее в выборе знакомств.

Я стоял рядом с ним, как немой.

А как трагически могла кончиться эта дурацкая шутка.

*

А несколько дней спустя он напомнил мне о нашем разговоре.

– Знаете, – поведал он, – я вчера на ночь перечитывал томик Тютчева и какое странное совпадение – наткнулся на эти забытые мной строки:

"И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений –
Самоубийство и Любовь!"

Он прочел их вполголоса, но у меня словно мороз по телу пробежал. Потом добавил:

– Знал что-то старик... какая умница... Нет, Толстой ошибся, говоря, что "умнее Фетушки человека нет". Куда уж тут "Фетушка"...

*

– Я не знаю ничего более прекрасного, чем медное звучание латыни. Но ведь только в зрелом возрасте, имея прочный фундамент, можно по-настоящему восторгаться Вергилием. А какой может быть интерес у гимназиста к какому-нибудь Саллюстию или Корнелию Непоту или узнавать подробности о каких-то вездесущих "лазутчиках". Зато, как должно быть упоительно читать латинские тексты так, как мы с вами читаем русскую книгу, вот хотя бы того же Тютчева.

*

– В елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем русского языка был одно время Василий Васильевич Розанов. Я не успел его застать, закончив, как вам известно, мое образование четвертым классом.

Но однажды, уже будучи молодым литератором, я посетил Елец и был приглашен на какой-то гимназический вечер. Я был почетным гостем, бывшим питомцем гимназии, окруженным ореолом славы. Старичок-директор все еще был на своем посту. Беседуя с ним, мне захотелось распросить

его о Розанове, который всегда меня интересовал. Директор замахал на меня руками:.

– Ну, что вы хотите – сумасшедший...Преподавая свой предмет, он обращался к ученикам: "Вы меня понимаете? Нет; ну, это очень хорошо, это прекрасно – настоящая мудрость именно в том, чтоб не понимать..."

## III

– Как-то под вечер – это было во время одного из его последних наездов в Москву – я зашел к Чехову. Он сидел один, грустил и видимо искренно обрадовался моему приходу. Мы долго говорили. Становилось поздно и я несколько раз пытался уйти, но Антон Павлович не пускал меня.

"Давайте теперь посидим и немного вместе помолчим", – сказал он.

Чувствовалось, что ему неуютно оставаться одному. Я остался. Часу в третьем ночи раздался звонок, и Ольга Леонардовна точно впорхнула, веселая, надушенная, щебечущая.

– Дусинька, ты не один, вот это отлично...

Ей подали закусить и она с аппетитом стала разгрызать какую-то холодную птицу. Чехов глядел на нее почти с ненавистью.

Когда потом в его записной книжке я наткнулся на фразу: "Когда я вижу, как бездарная артистка жрет куропатку – мне жаль куропатки", я невольно вспомнил этот вечер.

А за всем тем, как к женщине, его неизменно влекло к Книппер.

*

– Это в свое время очень в России практиковалось, мы ведь во многом были чуть провинциальны: какая - нибудь анонимная поклонница пошлет вам многостраничную исповедь с таким обилием деталей, что порой при чтении краснеешь, а к концу добавит – научите как жить или что такое жизнь... Много я на своем веку получал такого рода посланий. А почему я обязан знать, что такое жизнь".

А Чехов говорит: "Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю: а что такое морковь? Морковь это морковь и все тут".

*

– Антон Павлович рассказывал, что у него издавна было страшное искушение назвать какого-нибудь бедного, захудалого чиновника "Матвей Сортирович".

*

– Вы когда-нибудь думали над изречением – "Леность – мать всех пороков"? Вы думаете, это правильно?

Нет, не леность, а глупость... И представить себе невозможно, до чего может довести человека глупость. Никакая фантазия не угонится.

– Я уже писал об этом, но вы ведь моих книг не читаете... Толстой рассказывал, что у него был приятель – человек очень бедный, считавший каждую копейку. И вдруг на последние деньги купил он затейливую заводную канарейку. Все судили-рядили – к чему? И никто не догадался, что это просто по глупости...

*

– Надо быть очень умным, чтобы понимать глупости. А если бы вы знали, как трудно бывает их сочинять. Нужны были такие умницы, как Алексей Толстой да Жемчужников, которого я лично знал – породистого вида барин с душистыми баками, чтобы написать Козьму Пруткова.

*

– Отличный человек был покойный Юшкевич – прекрасный семьянин и верный друг. Но я очень любил дразнить его. Помню, встречаю его однажды в Светлое Воскресение.

– Семен, у тебя сегодня плохой день...

– А что такое?

– Христос воскрес!

Он огрызался... Одно время он полюбил совершенно некстати вставлять в свою прозу какие-то мистические нотки. Ему, вероятно, казалось, что это последний крик моды, а у него была маленькая слабость: как бы не прозевать "современности".

– Семен, что это у тебя за метерлинковщина пошла? Ты же "биндюжник", тебе это все не к лицу, пиши просто, как всегда писал.

– Что? Что такое? Что такое "биндюжник"? Это ты разменял свое перо на мелочи – и при этом он своими двумя мясистыми пальцами делал какой-то презрительный жест, похожий на кукиш, а я – я создал эпопею, э-по-пею... Леон Дрей станет таким же нарицательным именем, как ... ну, как Пер Гюнт!

*

– Сколько за свой долгий век я успел навидаться, как от громких и пышных литературных и прочих "слав", казавшихся незыблемыми, и следа не осталось. Носили на

руках, а если я вам сейчас назову иные имена, вы не будете знать, что за люди такие. Из-за них ломали копья, их книги казались событиями, а история литературы едва уделит им три строчки. Будь я Леонидом Андреевым, я сказал бы, что смерть с чрезмерным тщанием просеивает в свое решето популярность и земную славу.

Вы, например, слыхали что-нибудь о Шеллер - Михайлове, о Терпигореве, человеке талантливом, написавшем очень неплохую книгу "Оскудение", об Альбове, которого Шмелев по некультурности произвел в "русские Прусты"? А среди моих коллег по Разряду Изящной Словесности были такие разные люди, как Златовратский и Боборыкин.

Народник Златовратский на рубеже веков был настолько знаменит и популярен, что в литературной среде его иначе, как "Триумфальными воротами" или даже "Иверской" не называли. Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Это тогда было необычайно и смело! У меня недавно лежали старинные комплекты "Отечественных записок" и я пробовал пересмотреть кое-какие его вещи... не мог, нет сил – все плоско, лубочно, фальшиво. Всюду какой-то шаблонный мужик Масей Масеич или Псой Псоич – где он только такие имена находил? – а сын у него непременно богатырь и железный революционер-народник. А при этом Златовратский деревенской жизни вовсе не знал, всегда жил в городе. Он, конечно, не чета Глебу Успенскому. Успенский был и умен и талантлив и его и теперь интересно перечитывать. Впрочем, еще интереснее Николай Успенский, двоюродный брат Глеба, человек с по-русски трагической судьбой, которого грех забывать.

Златовратский однако пережил расцвет своей славы, она от него отхлынула еще при его жизни. Вспоминаю его на закате дней, вечно недовольным, окруженным писателями "из народа". Он шагал по комнате в каких-то бесформенных засаленных штанах, заложив руки за спину и угрюмо бурчал:

– Декаденты, говорят, какие-то появились. За ними еще марксисты какие-то идут. Не знаю, батюшка... это все чепуха, это все пройдет...

Таким он в моей памяти и остался.

А Боборыкин был совсем из другого теста. При жизни Тургенева Стасюлевич считал своим долгом открывать январскую книжку "Вестника Европы" каким-нибудь новым тургеневским романом. Это был, так сказать, новогодний подарок читателю. С 1883-го года это почетное место в журнале досталось Боборыкину. Вот как он тогда расценивался, а вы сейчас нахально улыбаетесь, молодой человек...

Следующее за этим поколение уже Боборыкина презирало, шутливо окрестив его "Пьером Бобо" и этот ярлык на нем до конца его жизни и о с т а л с я. Двадцатый век с ним серьезно не считался. А ведь очень умный был человек, только большим талантом Бог его не наделил.

По образованию он был химиком, но вместе с тем был каким-то всеведущим, эрудиции необычайной, прочитал, кажется, все, что только возможно.

У него была какая-то природная, не деланная барственность. Всегда чистенький, аккуратно одетый, холеный, всегда в белоснежной, туго накрахмаленной рубашке, а по вечерам неизменно в смокинге. Литературную Москву это тогда поражало.

Он подолгу живал за границей, из года в год вел в толстых хурналах очень дельные обзоры французской жизни и литературы. Иностранными языками владел в совершенстве. В парижской литературной среде он был своим человеком, на равной ноге с Гонкурами, Флобером, близко знавал начинающего Мопассана... Он его иначе как Ги и не называл.

– Да, знаете, – шептал он мне на ухо, – молодой человек имел бо-о-льшие способности. Много обещал. Отчасти он, конечно, эти обещания оправдал, только – но это между нами – неуч был страшный!

Или рассказывал еще:

– Встречаю как-то Флобера в фойе Большой Оперы. Разговор случайно зашел о Карфагене. Я и говорю ему: "Вы бы, Флобер, прочитали то-то и то-то, это вам очень пригодится, а то документация ваша недостаточна". Он меня не послушал, видно поленился, вот и Карфаген его вышел театральным.

Жил Боборыкин и в Риме и даже был принят Папой в личной аудиенции. Это ведь очень большая честь. Его "Вечный город" (вы, конечно, об этой книге понятия не имеете) любопытнейшая книга. Ведь о Риме конца века Боборыкин был осведомлен не хуже Зола. У них вообще есть немало общего. Ненавижу такого рода сравнения, но все же скажу – Боборыкин, это русский Зола. Если вам нужно ознакомиться с каким-нибудь модным течением в купечестве, в литературе, в буржуазной или рабочей среде, с ее тенденциями, увлечением, с дамскими нарядами или криками моды, вообще с любыми мелочами эпохи восьмидесятых-девяностых годов, непременно почитайте Боборыкина. Он все передавал очень старательно и материал это вполне добротный. Все же, вероятно, лучшее, что он создал – а томов у него бессчетное количество, полки не хватит – нашумевший в свое время роман "Василий Теркин".

А в беседе он был много более блестящ нежели в своих писаниях и поговорить любил до смерти. При нем нельзя было ни одного слова вставить. Говорят, из-за этого он никогда нигде не появлялся вместе со своей женой – бывшей артисткой, женщиной исключительно обаятельной, но тоже любившей не в меру поговорить. Они друг другу мешали и потому выезжали самостоятельно...

Вспоминаю еще, как он мне, слегка грассируя, рассказывал о своей беседе с Толстым.

– Толстой мне все опрощение проповедывал. Я ему и говорю: да, да, Лев Николаевич, это вам свои грехи надо замаливать и о будущем думать. А мне-то что, я не курил, не пил, с женщинами не знался. Я умру спокойно и постучусь в ворота Рая. Апостол Петр и спросит: "Кто там?" Я отвечу: "Это я, Боборыкин!" Он тогда сразу распахнет передо мной ворота и приветливо произнесет: "А, пожалуйте, милости просим, Петр Дмитриевич!". А вы грешили, ох как грешили, Лев Николаевич...

И, при этом, он по-детски широко улыбался своим черепообразным лицом, морща маленький носик и сияя огромной лысиной.

Одно время мы были соседями. Жили в "Лоскутной" на одном и том же этаже. Возвращались как-то подутро после

бессонной ночи в "Стрельне" большой компанией. Со мной были Андреев и Скиталец, оба в поддевках, в русских рубахах, в полусапожках. В коридоре встретили "Бобо", уже свеже выбритого, в каком-то нарядном утреннем шлафроке, из которого торчало большое белое жабо.

– И вы, значит, сегодня, спозаранку...

– Да мы еще и не ложились, мы из "Стрельны".

Он моих слов не уяснил, потом искренно удивился (что за нравы, мол, пошли) и только с большой мягкостью, оглядывая нас, тихо спросил: "А что,это с вами тоже писатели?"

Хороший был старик...

А где вам знать, как гремел в свое время Потапенко. Его роман "На действительной службе" казался тогда событием. Потапенко сразу подняли на щит.

Долгое время он был дружен с Чеховым. Они были почти неразлучны и их даже шутя прозвали "Антоний и Клеопатра". Ведь в те годы – вот вы мне не верите – и критика, и читающая публика отдавали явное предпочтение Потапенке. Кончилась же эта дружба тем, что Потапенко отбил у Чехова женщину, в которую тот был безнадежно влюблен, и укатил с ней в Париж. Потом вернулся в Петербург, стал редактором журнала, был по-своему красив со своей густой черной бородой, ходил в собольей шапке, в длинном сюртуке такого замечательного английского сукна, что потрогать его было большим удовольствием, считал себя великим "метром", но... ничего замечательного так и не написал.

А каким ореолом был в эти самые годы окружен Скиталец (в миру просто Петров), о котором я вам вскользь уже упоминал. Это был высокий, очень развязный мужчина с длиннющей, фаллообразной шеей. Он все вещал о революции и под эти вещания издавал открытки со своим изображением – сидит этак артистически, откинувшись назад и перебирая гусли, да не просто гусли, а "гусли-мысли"! Открытки продавались в десятках тысячах экземпляров. А когда он ездил по Арбату на лихаче на дутых шинах, в обнимку с Шаляпиным, не было человека, который бы не обернулся: "Скиталец едет!".

На каком-то благотворительном вечере в Дворянском собрании – тысячи три публики – он прогрохотал наделавшие столько шума неуклюжие строки:

"Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас: вы – жабы в гнилом болоте..."

Если бы вы видели, что творилось с публикой, с разъяренными курсистками и акушерками и передовыми дантистами. Все точно посходили с ума: стук, свист, аплодисменты, крики, настоящая буря. Его без конца заставляли бисировать.

После ужинали большой компанией у Тестова. Скиталец считал себя героем дня. Он заказал тарелку зеленых щей и тарелку зернистой икры, потом задумался, бросил в щи скомканную салфетку и изрек:

– Да, сорвал-таки, кажется, аплодисменты...

Да, сорвал. А что осталось? О, Русь!

*

– Пишут, пишут братья-писатели, а скольких вещей они и не знают...

– ?

– Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправлялись в Ниццу.

– Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: "Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит и расскажи мне про него". Зайцев поглядел, задумался и отшутившись, переменил разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая игра.

А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от мужчины, кажется, не отличит. А ведь он совсем не близорук!

Зато как знали все эти "мелочи" Толстой или Флобер. Поэтому так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Наташа Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько слитны, так логичны, так все одно из другого вытекает – ни единой погрешности, ни единой фальшивой нотки – что мое, ваше, чье бы то ни было представление о ней будет мало чем друг от друга отличаться.

А тургеневская Лиза все-таки – абстракция. Ее образ расплывается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы можете себе ясно представить Джемму? Ну, хорошо – усики слегка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Тургенева, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин... Хоть он многого, может быть, и не знал, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это какое-то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать восемь лет так все знать.

Если бы какие-нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи – они стали бы первоклассными писателями. А так – много блеска, очень талантливо, но сухо, чего-то постоянно недостает и это их губит.

И Короленко этим грешен. А еще больше Горький, по существу большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообразности, все его "погрешности". Вы и не оберетесь. Да, необходимо "на зубок" знать то, о чем пишешь.

Вот, для примера, в каком-то горьковском рассказе – если не ошибаюсь, называется он "Рождение человека" – нагромождены физиологические подробности, о которых сама природа не ведает. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или какой-то другой реки. И вдруг Горький серьезно пишет: "кленовые листья, плывшие по воде, были как обрубленные человеческие руки и как ломти лососины...".

Вы только вникните в эту фразу. Я даже не говорю о том, что вообще безграмотно давать два сравнения. Но

"обрубки тела", которые плавают – где же Горький такое видел? Или он считает необычайно выразительным вроде "моря, которое смеется" то, что "один глаз впивался в вас, а другой лукаво подмигивал". Разве это дает хоть малейший образ? Это демагогия и ничего больше.

Когда мы когда-то во время оно вместе жили на Капри, я неоднократно говорил ему: "Алексей Максимович, у вас тут точно вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли – там взяли лицо, здесь туловище, тут ногу – разве в природе вообразимы подобные соединения?". Он почесывался и говорил: "Да, оно, конечно... пожалуй, вы и правы".

Вспоминает это Иван Алексеевич, уморительно имитируя окающий горьковский говор.

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую гору (действие происходит в Иерусалиме), распростер руки и "тень его казалась черным распятием". И эффект-то какой дешевый. Но не в этом дело: я ему заметил: "Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны Мертвого моря".

– Ты вечно о пустяках, – недовольно возразил мне Андреев.

Но ведь это отнюдь не пустяки. Надо уметь привирать.

*

– Среди моих коллег по Академии был и Ключевский. Какой это был привлекательный старичок. Но близко мне с ним сойтись так и не удалось. Я об этом и сейчас жалею. В последний раз в жизни я встретил его в день первого представления "На дне". Триумф Горького превзошел тогда все ожидания, в течение спектакля его вызывали семнадцать раз, а после премьеры был организован банкет в "Праге" приборов, кажется, на триста.

До начала ужина, в отдельной комнате я стоял рядом с Ключевским и обменивался с ним впечатлениями, пока не появился сам герой торжества, красный, возбужденный, потный...

– Жрать, жрать, жрать, – покрикивал он на ходу и подозвал лакея – "Тащите сюда сейчас же какую-нибудь такую рыбину", – жестикулируя, он показывал ее величину. – "нет, такую..." – и еще больше разводил руки – "словом, не рыбу, а лошадь...".

"Нет, Алексей Максимович, зачем же лошадь", — ледяным голосом проронил Ключевский, отчеканивая каждое слово, — "ведь мы здесь не все ломовые извозчики..."

*

Радио передает из Милана арию "Тоски" — "В мерцании ночи звездном".

Иван Алексеевич слушает ее с напряженным вниманием и потом:

"Ах, как жалко, что нельзя, чтобы ее пробиссировали, ведь это моя любимейшая ария. Я и сам ее иногда пою, когда нет "уличающих свидетелей"... — и он мурлычет несколько пуччиниевских аккордов, — "тут все выражено: и блаженство жить, и сладкая мука счастья, и отрава любви..."

*

— Вам был симпатичен покойный Куприн? О его творчестве я не так давно написал статью для "Современных записок"... — "Перечитывая Куприна". За нее меня многие ругали. Но я ведь писал то, что думаю, не кривя душой и не моя вина, если не вполне вышел "посмертный панегирик".

В последние парижские его годы он стал казаться более мягким и податливым, но ведь он всегда был болезненно злопамятен. Я ведь знаю его "сто лет" и когда-то в Одессе, к которой у меня давнее пристрастие, мы жили вместе. Куприн едва начал тогда печататься, но как раз тогда ему не удавалось пристроить ни одного своего "детища". Редакций и редакторов он тогда еще побаивался! Я взялся отнести один из его рассказов кому следует. Мы поехали вместе в редакцию "Одесской газеты" и Куприн остался внизу, разгуливая у подъезда в ожидании "событий". Рассказ восходящей звезды был немедленно принят и я победоносно вернулся к нему с радужной двадцатипятирублевой бумажкой. Мы закатились в какой-то кабачек, но удар по самолюбию Куприна был нанесен жестокий, У него, мол, ничего не выходило, а я пристроил его рассказ мгновенно. Как же так? Моего одолжения он мне никогда не мог простить.

Я долгое время ухаживал за М.К. Давыдовой, ставшей затем первой женой Куприна. Брак этот был на редкость неудачным, да и совершен он был как-то впопыхах. На

каком-то большом вечере Куприн сделал М.К. предложение. Она тут же, чуть ли не между двумя танцами, его приняла, пришла мне об этом сообщить, а я на это не обратил должного внимания.

Но вечер этот завершился очень грустно. Раздался звонок и под звуки вальса внесли мать М.К., разбитую параличем. В этот день у нее было бурное объяснение с Михайловским, с которым у нее был длительный и вполне официальный роман.

На следующий день М.К. рассказала матери о купринском предложении и старушка, полагавшая, что дни ее сочтены, очень хотела, чтобы ее дочь до ее смерти была пристроена. К тому же, выросшая в литературной среде, она была довольна, что ее зять "подающий надежды" писатель. Она настояла на том, чтобы дочь предложение сразу же приняла и та согласилась, словно бросая мне вызов. Однако поладить с мужем так и не сумела.

Вот Елизавета Маврикиевна, которую мы звали "Курицовной", нашла нужный тон. Она умела Куприна сдерживать и своим ласковым "Сейчас, папочка" тормозила его необузданные желания, оттягивая исполнение прихотливых, порой бурных капризов.

Однажды, в каком-то обществе он спьяна начал неприлично приставать ко мне, с издевкой, с подхихикаванием, с какими-то двусмысленными намеками. Я долго терпел, потом вспыхнул и громко произнес: "Если ты, утконос проклятый, немедленно не замолчишь, я сейчас разобью эту бутылку о твою татарскую башку..." Я думал, что начнется драка, атмосфера и без того была сильно накалена. Но ничуть не бывало. Куприн сразу же осекся, удивленно посмотрел на меня и зарыдал: "Это я-то утконос?", и всхлипывая по-бабьи продолжал: "Братцы, меня здесь оскорбляют"! Несмотря на любовь к скандалам и буйству, Куприн храбростью не отличался и когда встречал решительный отпор и какой-нибудь задетый им "штафирка" надлежащим образом реагировал, он немедленно съеживался, затихал и чаще всего смывался. Это я наблюдал неоднократно.

В другой раз, в той же Одессе, я с Верой Николаевной поехал навестить его на дачу за Большим Фонтаном. Мы встретили его на дороге, он ехал на велосипеде. Заметив нас, он соскочил, ласково поздоровался с В.Н., а когда я протянул ему руку, он неожиданно попытался ударить меня ниже локтя, применяя какой-то прием джиу-джитсу. Я инстинктивно успел отдернуть руку.

– Счастлив твой Бог, – проронил он, – а то плохо бы пришлось.

– За что же это, Александр Иванович?

– Дорогу в Академию мне преградил, – зло процедил он сквозь зубы.

– Позволь, ты сам прекрасно знаешь, что это избрание было для меня полнейшей неожиданностью и мне и в голову не могло прийти что-либо с этой целью предпринимать...

– Ничего не значит. Преградил и все тут...

А тогда он уже пользовался всероссийской славой. Редакторы уже ходили к нему сами, он их не всегда к себе допускал и за печатный лист он получал тогда 2500 золотых рублей. Высчитайте, сколько это! А все-таки Академии он мне так и не простил...

*

– Я как-то встретил Бальмонта на Елисейских Полях. "Знаете, Бунин, – выспренно обратился он ко мне, – я прочел вашего... ну, как это... "Человека из Сан-Франциско".

– "Господина из Сан-Франциско", – холодно поправил его.

"Ну-да, "Господина"... у вас, Бунин, есть чувство корабля!

Тот-же Бальмонт как-то поделился со мной:

"Бунин, вы не поверите – я заставил себя до конца прочитать, наконец, "Войну и мир" графа (титул он произнес особенно напевно) Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами это даже просто хорошо, очень хорошо...

*

А вскоре после этого бальмонтовского признания я сидел в кафе с Алдановым. Нежданно появился Набоков,

который еще именовал себя тогда Сириным. Тот тоже сообщил, что будто бы впервые "осилил" "Войну и мир". Алданов из вежливости спросил об его впечатлениях.

– Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная, белая нога Анатоля, ничего не скажешь, эта сцена здорово передана.

– Вы уж лучше этого никому не рассказывайте, – заметил Алданов, покрасневший как рак.

*

– Я не верю людям, которые на глупый вопрос – "Какую книгу взяли бы вы с собой, если бы должны были обитать на необитаемом острове" – отвечают "Данте". Это – ханжество. Данте, конечно, очень крупный, мировой поэт, но "питаться" им в наши дни уже нельзя, он уже скучен.

*

– Хорошо было писать Сервантесу. В его время писали обще, аллегорически, без психологических выкрутасов. Может быть, и люди были тогда проще. "Дон-Кихот" – прекраснейшая из книг, но ведь это мы – поздние потомки придали ей глубокий, вечный смысл. Сам Сервантес об этом и не подозревал.

*

– Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой дон-жуанский список?

– Увы. Это уже дело далекого прошлого, но мысль отменная. Если найдется у меня свободное время, обязательно примусь за его составление. Только теперь уже многих имен не помню... Но ваш "бестактный" вопрос пробудил во мне целый рой воспоминаний.. Какое золотое время – молодость! Сколько бывает тогда побед, сколько встречается на пути прекрасных и пленительных женщин. Жизнь быстро уходит и мы во-время ничего не умеем ценить как следует. Начинаем ценить, когда все позади, когда уже поздно.

Давно это было. Был у меня в то время головокружительный, "африканский" роман с некой Любой Р. Впоследствии я уже никогда не встречал ни таких глаз, ни таких изумительных точеных рук. Не буду описывать подробно, вы непременно подумаете, что я пристрастен и припишете энтузиазм моих слов тому, что в дымке воспоминаний все

кажется исключительным. Однако, это сущая правда и я вполне объективен. Расспросите очевидцев, кое-кто из них еще жив.

Как все это было сказочно хорошо! Подумайте только – зимняя Москва, молодость, льстящая известность, рестораны, веселые кутежи. "Литературно-художественный кружок", писательские "Среды", беззаботность и легкость жизни... А тут, кроме этого основного романа, еще ряд встреч полуслучайных и мимолетных. Не ценил, с жиру бесился...

Однажды в середине зимы, рассердившись на Любу из-за какого-то нелепого и не стоющего замечания пустяка, я взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва-Вена и ни с того, ни с сего ускакал в Ниццу. (Отмечу от себя, что отдаленные реминисценции этой поездки можно найти в бунинском рассказе "Генрих", вошедшем в "Темные аллеи").

В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найденовым, который тоже не знал толком, что его принесло в австрийскую столицу. Дальнейший путь мы уже продолжали вместе. Проезжая через Тироль, при виде старинных замков он все время отплевывался и недовольно бормотал:

– Тьфу, пропади... И кому это нужно...

Остановились мы в Ницце в отличной гостинице. Солнце, море, нарядная толпа... Но уже вечером в день приезда Найденов был всем разочарован. Не зная ни одного слова ни на одном языке, кроме русского, он никак не мог объясниться с какой-то француженкой, пленившей в Казино его сердце. Но и мне не сиделось на одном месте. Дня через два мы укатили в Венецию.

Найденов ненавидел памятники искусства и принципиально не посещал музеев, да правду сказать – и мне было не до них. Очень скоро мой спутник стал тянуть меня домой – "хоть бы борщ с пирожком на границе откушать", – все твердил он. А мне вдруг безумно захотелось поскорее повидать Любу. Скачки по Европе очевидно вполне меня отрезвили. Долго упрашивать себя я не заставил. Вернулись так же нелепо, как отправились в путь. Чуть ли не с вокзала я помчался к Любе.

Неожиданно она приняла меня холодно, с оттенком презрения. Сколько я потом ни прилагал усилий – она оставалась непреклонной и никогда моей эскапады мне не простила.

В день моего избрания в Академию близкие друзья чествовали меня импровизированным банкетом. Люба была среди гостей. Была мила, дружески - любезна и... дьявольски-заманчива. При разъезде сама попросила меня проводить ее. Я очутился на седьмом небе. Я нанял лихача и по дороге, в летящих узеньких саночках, в то время, как крупные снежинки слепили глаза, пытался восстановить старое. Она отбивалась, закрыла лицо большой пушистой муфтой и процедила сквозь зубы:

– Никогда...

Это "никогда" так и осталось ее последним словом. Вот что за характер был у этой женщины!

Нет, мне легче было бы составить не дон-жуанский список, а список утерянных возможностей. Он, вероятно, был бы много длиннее!

Вот, кстати... Была тогда в Москве некая Марина У., стройная, дьявольски красивая, одевалась она всегда как-то вызывающе, любила иногда появляться в прозрачной тунике. Она принадлежала к кружку московских декадентов, а ведь они любили эпатировать "буржуев". Муж Марины тоже одевался сногсшибательно, ходил по Москве в какой-то крылатке и светло-голубых калошах. До сего дня удивляюсь, где он такие калоши заполучил.

Но, Бог с ним, с мужем. До чего хороша была эта женщина. И как-то, в период междуцарствия, то есть, разойдясь с одним из своих мужей и еще не оформив брака со следующим, она вечером пришла ко мне в "Лоскутную". А я, дурак, в последнюю минуту вдруг чего-то испугался. Жить мне теперь осталось недолго, но я с радостью отдал бы три года жизни, чтобы восстановить этот вечер.

*

– Я когда-то усердно собирал частушки, народные поговорки, прибаутки. Это неоценимый клад и сколько их ни записывать, все равно всего не запишешь. Был у меня паренек из деревенских, которого я обучил искусству записи.

Мы условились, что я буду платить ему по копейке за каждую новую запись. Вероятно, этот самородок многое сам присочинил, но как он был талантлив...

Во время войны я выписал его к себе в Москву и он ночевал у нас на кухне. Раз я его спросил – понравилась ли ему Москва?

– Ничего, только ветвей нету...

Давал я ему на прочтение кое-какие книги. Дал "Смерть Ивана Ильича".

– Прочел?

– Прочел.

– Ну, понравилось?

– Очен-но понравилось, там буфетный мужик большие деньги загребал...

Кончил мой паренек плохо, сперва получил у большевиков в начале 18-го года какой-то "ответственный" пост, но вскоре на чем-то попался и его расстреляли.

А всяких частушек и народных прибауток собрал я около одинадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они остались в Москве в моих архивах. Кое-что я стараюсь теперь восстановить по памяти, но память – вещь неверная.

Несколько минут спустя он протягивает мне тетрадку:

– Вот для вас, обучайтесь...

В тетрадке столбиком записаны всевозможные поговорки, каких ни у какого Даля не найти. Некоторые из них он любит повторять, но, к сожалению, напечатать их неудобно. А ведь, действительно, жалко, так они остроумны и выразительны.

*

– Мне было тогда, вероятно, лет около пятнадцати. Я жил еще с родителями в нашем орловском именьице. Старший мой брат, Евгений, недавно женился и приехал к нам погостить со своей молодой женой. Вскоре к ним присоединилась и молоденькая родственница моей новой невестки. Звали ее Авдотья Карловна. Была она круглолицей, пухленькой девицей с веселыми голубыми глазами. Были мы почти однолетками. Как полагается, через несколько дней после ее приезда я уже был в нее безнадежно влюблен и, конечно, воображал, что с равной силой подобное

чувство никем и никогда не было изведано! Ведь это была моя первая влюбленность...

Мы без конца играли в крокет, постоянно вместе гуляли, ездили верхом. Но я был слишком робок и застенчив, чтобы признаться в волновавших меня чувствах, а она коварно делала вид, что ни о чем не догадывается.

Однажды мы целой ватагой зачем-то снарядили экспедицию в соседний городишко. Возвращались уже поздно ночью. Я устроился так, чтобы сидеть в тарантасе рядом с Авдотьей Карловной. В пути неожиданный толчок внезапно приблизил наши лица. Не задумываясь, не сознавая, что я делаю – я крепко поцеловал ее. Ничего более прекрасного, более сладостного нежели этот первый поцелуй, первое почти невинное прикосновение губами к женскому телу я не испытывал во всей последующей жизни. Я и сейчас, рассказывая вам эту страницу моей жизни, ясно вижу перед глазами эту картину, точно это произошло вчера: широкая проселочная дорога среди спелого жнивья, рассветает, какой-то босой мальчишка гонит нам навстречу стадо гусей...

После этого наши совместные прогулки еще участились. Я старался выбирать уединенные места, лесную чащу. Однако, все так и ограничивалось одними поцелуями, ритм которых только постепенно учащался. На большее не хватало мужества. А дни мчались безнадежно быстро. Уже начинали желтеть листья, каникулы приходили к концу, пришлось расставаться.

Прошло лет двадцать. По какому-то случаю я заехал в Ефремов. Остановился в лучших тамошних номерах и, как подобало столичному путешественнику, навестившему захолустье, снял "номер первый". Вы этого, конечно, не знаете: в провинциальных русских гостиницах или по-гоголевски трактирах был для именитых посетителей всегда наготове этот "номер первый"! Но в Ефремове этот самый "номер первый" с красной, как надлежит, плюшевой мебелью, с большим круглым столом и кроватью, отгороженной шатающейся ширмой, был постоянно насыщен угаром и кухонным чадом.

Случайно обнаружил, что моя Авдотья Карловна проживает в Ефремове. Я ей тотчас дал знать о моем приезде. Она зашла ко мне в гостиницу как-то под вечер. Уже не казалась мне столь обольстительной, как некогда, перестала быть в моих глазах "роковой женщиной", но все же была еще довольно аппетитна.

На круглом столе коптила керосиновая лампа. Глядя на знакомые голубые глаза, я мысленно пожалел о потраченном когда-то зря времени, сам поразился, вспоминая мою былую робость, может быть, и прибавив какое-нибудь пошленькое "Так уютнее...".

Когда Авдотья Карловна вышла от меня, я растворил окошко. Была сухая, морозная зимняя ночь. Ярко светили звезды. Спать не хотелось. То, что было когда-то так неразрешимо сложно, оказалось таким простым, может быть, слишком простым... Душный воздух комнаты был мне невмоготу. Я оделся и вышел на улицу. Город безмятежно спал. Я растолкал прикурнувшего на стоянке извозчика и приказал ему покатать меня.

Он понял меня по-своему и не спеша повез по сонным улицам. Ехали довольно долго и, наконец, подвезя меня к какой-то загородной даче, обернулся и не без хитрецы сказал:

– Приехали-с!

Ступая по хрустевшему снегу, я пошел по направлению к дому, еще не вполне себе уясняя, куда я попал. Извозчик шел за мной следом. Я вошел в пустынные сенцы. Перед огромной иконой теплилась лампадка.

– Вот здесь я вас и обожду, – сказал мой возница. – Здесь потеплее будет.

Я прошел дальше. В просторной с низким потолком комнате на широкой постели спали две полуодетые девки. Они лежали, приткнувшись одна к другой, в каких-то длиннющих холщевых рубахах, точно две огромные, неподвижные рыбы. На одной из них поверх рубахи был засаленный корсет, поразивший меня тем, что он был черного цвета. Во многих местах китовый ус вылезал из него наружу. А ведь вы, дорогой мой, никогда даже не видали таких туго зашнурованных, завязывающихся сзади корсетов и потому не в силах понять, каким бывало наслаждением их расшнуровывать!

Между тем сонные девки неохотно протерли глаза. Подали черные бутылки густого, клейкого пива. Я посидел несколько минут, о чем-то с ними поболтал и стал собираться в обратный путь. Девки были явно оскорблены.

Возница, которого мне пришлось долго будить, недоверчиво воскликнул:

– Как, уже?

Я вернулся в гостиницу, философствуя про себя о суете мирской. Тем и завершилась моя первая влюбленность. Авдотьи Карловны я больше никогда не видал. Слышал, что она стала гувернанткой в какой-то зажиточной рижской семье. Как-то я был в Риге проездом, но навестить ее не удосужился. А курьезно было бы повидать ее еще раз.

Стоило бы отметить, что многое из этих бунинских воспоминаний отразилось на его рассказе "Темные аллеи", вошедшем в его одноименный сборник.

*

– Уж, кажется, пером я владею и над тем, что мной написано, комар носа не подточит. А вот письма мне не удаются и никогда не удавались. Получаются какими-то тусклыми, бухгалтерскими – вот только, если разозлюсь, то развожу похабщину. Я непременно в моем завещании отмечу, чтобы мои письма никогда не опубликовывались. А кто послушается? Вот и Гончаров строго-настрого запретил его письма издавать и, вероятно, был прав: я недавно целый том этих гончаровских писем прочитал! Надписи на книгах тоже не моя специальность. "Милому", "дорогому", "глубокоуважаемому", а дальше что. Да и дамам не намного лучше. Если бы вы знали, сколько раз я использовал украденную у Горького формулу "эту книгу я переплел бы в кожу моего сердца", вы бы ахнули, но представьте, всякий раз действовало.

*

– Я совсем ожидовел! Ночью мне Шагал снился, большой такой, с ровной, гладко подстриженной бородой, точно пушистое колье вокруг лица.

– Иван Алексеевич, да ведь Шагал бритый...

– Вот вы всегда ко мне придираетесь. Я уверен, что это был Шагал. Я даже успел заметить, как за его спиной плавали его разорванные, зеленые евреи. А потом подошли какие-то немецкие офицеры, настолько страшно стало, что я проснулся.

*

А в другой раз:

– Ночью мне Лев Николаевич снился, весь сизый, с взлохмаченной бородой, все пил джин из огромной бутыли. Где он только такую достал? Меня он явно не узнавал. Я подходил к нему, представлялся, напоминал, что мы когда-то встречались. Ничего не помогало, старик был точно невменяем. А мне было не по себе – в печати рассказывал о встречах с Толстым, а он меня не узнает.

На следующий день после этого сна мы ездили в Ниццу. Первой покупкой Ивана Алексеевича была большая бутылка джина!

*

– А у вас есть нелюбимые буквы? Вот я терпеть не могу букву "ф". Мне даже выводить на бумаге это "ф" трудно, и в моих писаниях вы не найдете ни одного действующего лица, в имени которого попадалась бы эта громоздкая буква. А, знаете, меня чуть-чуть не нарекли Филиппом. В последнюю минуту – священник уже стоял у купели – старая нянька сообразила и с воплем прибежала к моей матери: "Что делают... что за имя для барчука!". Наспех назвали меня Иваном, хоть это тоже не слишком изысканно, но конечно, с Филиппом несравнимо. Именины мои приурочили ко дню празднования перенесения мощей Иоанна Крестителя из Гатчины в Петербург. Так, строго говоря, я и остался на всю жизнь без своего святого... А прости Господи, каким образом рука Иоанна Крестителя могла очутиться в Гатчине, я до сих пор не разгадал.

Но что все-таки могло произойти – "Филипп Бунин". Как это звучит гнусно! Вероятно, я бы и печататься не стал.

Его до сих пор передергивает при одной мысли об этом "ужаснейшем" из сочетаний.

*

– Род наш значится в шестой книге. А гуляя как-то по Одессе, я наткнулся на вывеску "Пекарня Сруля Бунина". Каково!

*

– Помните, вы когда-то встречали у меня старика Неклюдова. Он считал себя потомком византийских императоров по прямой линии, потому что его мать действи-

тельно, была из рода Комненов. Счастливую жизнь прожил человек. Дипломатическую карьеру он начал молодым атташе в Константинополе. Представить себе теперь нельзя, чем была посольская жизнь на берегах Босфора в последней четверти прошлого века: балы, празднества, положение дипломатического представителя такой державы, какой была тогда Россия, большое космополитическое общество. А официальной работой Неклюдов себя не слишком утруждал. Попросите его при случае рассказать о султанском дворе и о его похождениях и победах. У вас голова закружится. Да и жена его может тоже многое припомнить. Впрочем, у нее очень твердые убеждения: она считает, что лучше австрияков для ухаживания не было никого, даже британские лорды отходят на второй план!

Из Константинополя Неклюдова перевели в Софию, оттуда в Стокгольм, а революция застала его уже в Мадриде в обстановке тысячелетнего этикета, так что слушать песенки под аккомпанемент кастаньет должен был "инкогнито". Когда Временным правительством в ударном порядке была провозглашена республика, он получил инструкции об этом факте не распространяться и ...и подал в отставку. Так и остался на Западе.

В Мадриде его заменил Стахович, но он по пути застрял в Париже и до Альфонса XIII так и не доехал. Я и его хорошо знал. Он был нашим предводителем дворянства, был своим человеком в толстовской семье, завсегдатаем в Ясной Поляне, но до самой старости оставался для всех "Мишей Стаховичем". Большой был фат, и Толстой, конечно, никогда его всерьез не принимал. Это вам не чета Маклакову.

С этим "Мишей" я долго не раскланивался. Мы как-то ехали вместе в Орел. Приехали ночью, в такой туман, что на шаг от себя не видно, ни одного извозчика. Я с трудом отыскал какого-то Ваньку и пока зазевался с носильщиком Стахович юркнул в мою пролетку и был таков... Я и сейчас негодую при воспоминании об этой ночи. Ведь я уже много раз говорил вам, чтобы вы намотали себе на ус, что нет людей более обманчивых, чем люди с благородными седыми бородами! Это Зинаида Гиппиус выдумала что-то о "благоуханных сединах"!

*

– Какой великолепный писатель – Гаршин и каким несчастьем для нашей литературы была его преждевременная смерть. В его вещах чувствуется такая писательская свобода и смелость приемов, которые безошибочно указывают на очень глубокий и подлинный талант.

"Мы, Божией милостью, Петр Первый объявляем ревизию сему сумасшедшему дому...", так начинается "Красный цветок". Как прием, лучше не придумать. А "Четыре дня" – совсем крупная вещь, но даже в маленьких его рассказиках чувствуется присутствие свежего таланта. "Attalea princeps" хоть и испорчена гимназической тенденцией, но и здесь чувствуется что-то значительное.

*

– Замечательный человек был Леонтьев – умный, интересный, талантливый. Некоторые его вещи, в частности его "Записки", буквально на уровне толстовских вещей. Его греческие романы немного тягучи и скучны и должны сейчас показаться старомодными, но и в них вы неожиданно наткнетесь на страницу, на пятнадцать строк описания какого-нибудь Крита, которые великолепны.

Ох, неблагодарное потомство!

*

– Я думаю, что ни одна западная литература того периода не достигала поэтических высот "Слова о полку Игореве". Но надо быть русским, чтобы это ощутить. Вот Мицкевич пытался переводить "Слово" и не сумел – оно непереводимо. Есть много поэтических творений, которые теряют прелесть, если лишить их природных архаизмов. "...Святослав мутен сон виде..." – Разве это то же самое, что "мутный сон"? Ведь "Слово" даже и на современный русский язык переводить кощунственно.

Мудрый Мазон долго работал над "Словом" и пытался доказать в силу каких-то внелитературных причин его апокрифичность. Боже, какая ересь! Только иностранец мог не почувствовать органическую ткань этого памятника!

*

– Нет, вы только вникните: "Не пожелай жены ближнего своего, ни вола его, ни осла его...". До чего жесток ваш Бог Саваоф. "Ни осла его...".

*

– Когда я был в третьем, а, может быть, в четвертом классе елецкой гимназии – дальше ведь я не доехал – учился со мной в одном классе некий Драковцев, фат с голубыми глазами. Он был на несколько лет старше меня, так как считал своим долгом в каждом классе оставаться на лишний год, а то и на два. Личность противная, патологическая – всего не расскажешь. Хоть я с детства неподатлив, но Драковцев меня все же порой тиранизировал. Он был много опытнее, хвастал знанием жизни, вероятно, привирал, но мне он чем-то импонировал. На какую девицу я бы не загляделся, он мне на следующий день развязно говорил:

– Ээх, да я с ней в прошлом году жил, или – да я ее недавно имел.

Хоть я ему и не верил, но все-таки завидовал!

Как-то во время большой перемены он мне таинственно шепнул:

– Сегодня после девяти встреча за земляным валом...

Я, конечно, поспешил прийти. Нас, гимназистов, собралось человек шесть. Откуда-то появилась большая бутыль водки, которую друг другу поочередно передавали и пили прямо из горлышка, закусывая соленым огурцом. Противно было, омерзительно. Я всегда был донельзя брезглив, а тут еще захватывающий дыхание невкусный напиток. Боясь товарищеских насмешек, я пил, превозмогая себя.

Когда бутылка оказалась опорожненной, подозвали извозчика и уселись в него всей оравой.

– К Анисье Петровне, – скомандовал Драковцев, заранее решивший, что для меня наступила пора "пасть" и в этом деле он должен стать ментором.

Елец – городок маленький, однако мы ехали довольно долго, пока не подъехали к низенькому домишке с символическим красным фонариком у подъезда. Зашли стесняясь и друг друга подталкивая вперед. Один Драковцев делал вид, что он здесь завсегдатай. Нас окружили какие-то дебелые девки. Я сел в какой-то свободный угол и, заикаясь, заказал бутылку пива. На мои колени тотчас, без приглашения, бултыхнулась какая-то грузная, почтенных лет женщина, почти меня задавившая. "Машина" не переставала играть польку.

– Попьем пивка, потом приляжем, – сказала моя Дульцинея тоном, не терпящим возражений и при этом попыталась поцеловать меня. Эти ее попытки бросали меня в жар и холод, и я не знал, как мне держать себя с ней и о чем говорить,

Пиво было какое-то липкое, густое, видимо застоявшееся. К этой потной женщине с хриплым голосом, в несвежем белье, я не испытывал ничего, кроме отвращения. От непривычной водки клонило ко сну, глаза слипались, и стены вокруг меня стали покачиваться, а пол сливаться с потолком.

Как я выскочил из этого гостеприимного дома, как добрался до своей постели, я и сам не знаю – кажется, и тогда толком не знал.

Экспедиция сорвалась!

## IV

Он очень не любит Достоевского, не признает его. Достоевский ему органически чужд, и атмосфера романов Достоевского его угнетает. Сегодня он все время старается доказать мне, что в романах Достоевского все надумано, нет живых людей, одни только схемы, нет пейзажа.

– Ну, какой же это у Достоевского Петербург? Это в лучшем случае Лиговка, Обводный канал, Пятая рота, но разве это Петербург?...

*

Если только доживу, по-настоящему за него возьмусь. Пора его сбросить с пьедестала, как говорит обо мне Шмелев.

А, кстати, вы прочитали его "Историю любовную"? Нет и не читайте. Я как дошел до того места, когда герой лезет на какую-то акушерку и замечает, что у нее вставной глаз – так не только бросил читать, но выбросил книгу... гадко, омерзительно, безвкусно – не могу...

*

– Я довольно поздно познакомился с Мережковским. Помню, как я зашел в какую-то петербургскую редакцию. У стола в кресле восседал какой-то маленький человечек, который при моем появлении заканчивал с кем-то оживленный спор. До меня донеслась только одна фраза – "Искусство лжи – самое большое из искусств". В этот момент один из присутствующих спросил:

– Вы не знакомы? Мережковский – Бунин.

Мы обменялись рукопожатием, и делу конец. Мережковский – упорный петербургский житель, а в общем в Петербурге я бывал только наездами. Ближе я с ними сошелся только в эмиграции.

Когда-то здесь, в этом самом Грассе, было у меня с Зинаидой Николаевной некое подобие amitié amoureuse. Я вдруг почувствовал, что я ей понравился.

В то время я напечатал небольшой рассказ, в котором описывается, как неизвестная поклонница посылает знаменитому писателю анонимное письмо и что из этого вышло. За этот рассказ Зинаида Николаевна устроила мне форменный разнос. Она с возмущением набросилась на меня:

— Вы попираете самое чистое и святое, в вас нет чуткости, вы готовы все опошлить...

Гнев ее был мне малопонятен, но лиризм наших отношений стал таять.

*

— В иностранном обществе — в первые годы эмиграции мы еще были "заморскими птицами" и нас постоянно приглашали — Мережковский постоянно подводил какого-нибудь именитого гостя к Зинаиде Николаевне и представлял ее :

— Неужели вы не знакомы с моей женой, знаменитейшей русской поэтессой.

А когда незадолго до войны Мережковские были в Италии, они были приняты Муссолини.

— Дуче, я пишу теперь книгу о Данте и о вас...

— Piano, piano, — забормотал дуче.

Мережковский сам мне об этом рассказывал, восхваляя скромность Муссолини!

*

Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места "противника". Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается и настроение тут же улучшается.

— Кого бы выругать? — обращается иногда к окружающим.

Мы говорили в это время о поэтессе Б-ой.

— Ну вот, есть о ком говорить. Она же теперь должно быть стала похожа на тарань!

Жестокое сравнение рассмешило его самого.

— А отец мой еще лучше умел ругаться. Помню, матушка частенько с упреком говорила : "Господи, как все Бунины оскорбительно ругаются".

*

Прекрасно имитирует многих своих современников, Горького, Бальмонта, Алешу Толстого. Актерская жилка в нем очень сильна, хотя театра он не любит. Знает это и, смеясь, замечает :

— Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал

Станиславский. Наверное стал бы знаменитостью, а теперь, скажите на милость, кто меня читает?

А все-таки отлично знает, что забыт он не будет.

*

По поводу какой-то домашней, хозяйственной неполадки я замечаю:

– Ну, это исправить трудно...

– Трудного ничего на свете не бывает, – паребивает он меня, – вот и "Войну и мир" нелегко было написать, а однако же Лев Николаевич ее написал.

Потом улыбнувшись:

– Это вы, злодей, вероятно, хотели сказать, что я бы не смог.

Он задумался и вдруг:

– Вы постоянно хотите меня унизить!

*

– А вы часто перечитываете "Повести Белкина"?

– В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.

– Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его не достать. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрыть книжку на последней странице и начинать снова с первой.

*

Сочинил какие-то шуточные стишки и довольный радостно их декламирует.

– Иван Алексеевич, да у вас в последнем двустишии рифмы прихрамывают.

Он чуть не обиделся.

– Тоже скажете... и у Пушкина найдете глагольные и слабые рифмы. А теперь ваши друзья рифмуют "бляди – на пледе" или "самовар-кавалер"! И небось это всем по вкусу, даже Адамовичу с Ходасевичем. Вам мои стихи могут не нравиться, допускаю, но придраться к моим рифмам нельзя...

*

Я как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежечасно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая

далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. Я сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну, настоящие живые мощи! Я не знал, кто это (кажется, это был знаменитый Бекетов), но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, похожий на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никого не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной.

Надо вам сказать, что в Академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны и иначе, как "Ваше Превосходительство" друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по "табели о рангах" соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой прищурился, кашлянул и наклоняясь ко мне: "Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?"

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844-м году.

*

— Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из "Хаджи-Мурата", опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжему показывают мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...

*

– Вы едва ли сознаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите какой-нибудь толстовский текст. Каждому портрету уделяется всего лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая веснушка. Вы никогда ни с кем не спутаете ни Наташу, ни Соню, ни Анну. Один только Иван Ильич нарисован обще. Но это ведь Толстой сделал умышленно. Рассказ ему лучше следовало озаглавить "Смерть Ивана Ивановича".

*

С вечера я взял с его полки томик стихов Алексея Толстого (кстати, до смешного не любил он давать свои книги для прочтения, даже не "на вынос"). Я давно их не перечитывал и удивлялся, как у Алексея Толстого много стихов искусственных и водянистых, даже совсем слабых, рядом с подлинно прекрасными. Я поделился моими впечатлениями с Иваном Алексеевичем.

– Ну, это вы все от любви к Блоку на Толстого клевещете. Завороженность Блоком вас окончательно погубит. Конечно, петушкового стиля и я у Толстого не люблю, но поэт все же превосходный. Вы только почитайте его письма и, главное, дневники. Сколько в них чутья и какой безупречный литературный вкус. Какой умница!

В свое оправдание я прочел ему вслух отдельные места из "Дон-Жуана", произведение, которое, судя по его переписке, поэт ставил очень высоко.

– Ну, это вы что-то передергиваете... и на солнце бывают пятна.

Что до толстовских дневников, то мне удалось прочитать их много позже, и я убедился, что Бунин расхваливал их только потому, что ему импонировала фигура Алексея Толстого – юношеские дневники, посвященные странствованиям по Италии весьма незначительны. Но гипноз имени действовал на Бунина довольно часто.

*

Мы возвращаемся домой по крутой горе. Где-то в горах выпал обильный снег, дует пронизывающий ветер и вдоль нашей дороги по канавке, обычно лишь чуть влажной на дне, с шумом несется поток.

Иван Алексеевич, ежившийся от холода, вдруг декламирует:

*"Дробясь о мрачные скалы*
*Шумят и пенятся валы*
*И ропщет бор..."*

– Это, черт знает, как хорошо. Точнее и лучше сказать невозможно. Каждый раз как я вспоминаю какие-нибудь пушкинские строчки, на меня точно столбняк находит. Я немею от восторга, от удивления. В мировой литературе не было ничего отдаленно похожего. О нем ничего, кроме истертых фраз, и не скажешь, надо довольствоваться восклицательными знаками и междометиями.

В жизни должно быть есть вещи, о которых мы даже не догадываемся. А то как же могло случиться, что такой человек погиб от руки негодяя, неизвестно какими путями попавшего в Россию.

А вот однажды Анри де Ренье мне рассказывал, что он сродни Дантесу. Чувствовалось, что в его семье этот "маститый" сенатор, вечно менявший убеждения и родину, пользовался большим уважением. Теребя свои галльские усы, Ренье добавил: "Да вы, вероятно, не любите его, ведь я знаю, что он в молодости убил вашего поэта Пуськина (так он и произнес). Но, помилуйте, тот Дантеса оскорбил". Я ничего не мог Ренье ответить и только отошел от него.

*

Он часто называет себя "последним из могикан". А когда бывает в дурном настроении, повторяет "я – нищий старик". Впрочем, страх материальной катастрофы преследует его с раннего детства и, кажется, никогда не покидал с того времени, как разорился его отец.

Чтобы подразнить Веру Николаевну, старающуюся его ублажить, уступая ему несколько граммов масла, полученного по карточкам, он говорит: "Ну, Вера, с твоими седыми волосами и в очках ты совсем стала похожа на Тютчева"!

*

– Прошлой ночью никак не мог заснуть, – рассказывает он. Я лежал с открытыми глазами и все думал, какие же стихи должна была сочинять Надя.

(Надя – шестнадцатилетняя, весьма эмансипированная поэтесса, некое подобие Надежды Львовой, бывшая действующим лицом в бунинском рассказе "Генрих", над которым он в те дни работал).

Ведь без того, чтобы я знал, что и как она пишет, ее образ не мог стать цельным для меня самого. Я кое-что набросал, два-три стихотворения придумал, но потом все уничтожил. Стихи эти приткнуть было некуда, но, сочиняя их, мне стало вполне ясно, как она должна была себя вести. Это очень помогает, поработать за своих героев. Не приставайте, теперь Надиных стихов я уже не помню, помню только, что одно из них начиалось:

*"Он, как Еве,*
*Робкой деве*
*Протянул свой спелый плод..."*

– А дальше?

– Дальше, дальше, дальше не для печати!

*

– Говорят, что лорд Теннисон под конец жизни получал по десяти золотых фунтов за строчку. Знай я это, я непременно родился бы англичанином и непременно стал бы королевским лауреатом!

*

– Вы никогда не встречали Вячеслава Иванова. Жалко. Интереснейший, хоть и путанный человек и собеседник, державший вас в постоянном напряжении. Я очень любил некоторые его стихи – у него есть настоящие и непреходящие. Вот только его "Диониса" не приемлю. Эта религия страдающего бога – какая-то салонная схоластика. Она под силу Мережковскому, но не мне.

Я чувствую, как при мысли о "Дионисе" первоначальный пафос в описании "Вячеслава Великолепного" постепенно увядает и незаметно для себя он уже начинает называть его Ивано́в!

*

Он написал рассказ, один из героев которого – известный московский врач первоначально именовался Николаем Михайловичем Данилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на машинке, когда проглядывая машинопись, он вдруг решил перекрестить своего доктора в Григория Яковлевича. Пришлось все заново переписывать.

– Не все ли равно, каково имя-отчество Данилевского?

– О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сливалось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое сочетание не подходит к персонажу. Мог ли он быть Николаем Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, чтобы оно его не коробило. Я часто примеряю имя – потом вижу, что оно не подходит, режет ухо и тогда меняю его. Это необъяснимая, таинственная магия имен. Можно потопить хорошую вещь неудачным, неподходящим подбором имен.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и фамилий, разбитые на категории, на национальности, по областям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он внимательно изучает с этой целью.

*

– Гоголь, конечно, гениальный писатель. Смешно это отрицать, но разрешите мне его не очень любить. Уж очень много в нем пошлого, неестественного. Откройте хотя бы первую страницу "Мертвых душ" ("поэмы" – почему поэмы?). Действие происходит в губернском городке и вдруг у дверей кабака разглагольствуют два "русских мужика". Что же вы могли бы подумать, что это испанцы судачат о том, доедет или нет Чичиков до Казани? Но еще того неестественнее подбор имен. Где он мог выкопать этакие мертворожденные фамилии, как Яичница, Земляника, Подколесин, Держиморда, Бородавка, Козопуп? Ведь это для галерки – это даже не смешно, это просто дурной тон. Даже в фамилии "Хлестаков" есть какая-то неприятная надуманность, что-то шокирующее. Да и Антон Павлович со своим Симеоновым-Пищиком, несмотря на весь свой вкус, сел в калошу. Нет, удачная фамилия – важнейшая для писателя вещь. Полюбуйтесь только фамилиями у Толстого – это подлинные алмазы.

*

Парижские антисемиты из "Возрождения", по его словам, прозвали его "жидовский батько" за его дружбу с евреями, за то, что в личный отношениях у него подлинно "несть эллина, ни иудея", хотя иногда он не прочь над евреями иронизировать – впрочем, вероятно, не больше, чем над поляками, финнами или латышами. Но он любит пойти

иногда в еврейский ресторан и отлично осведомлен о многих патриархальных еврейских обычаях, которые практикуются только в очень ортодоксальной среде. Не знаю, где он мог эти обычаи изучить.

– Вот вам прекрасный обычай: глава семьи, почтенный старец с седой бородой и в ермолке, после какой - то праздничной трапезы торжественно обмакивает свой палец в стакан палестинского вина – уж очень оно на мой вкус крепкое – и потом резким движением стряхивает осевшие на пальце капли с возгласом: "Да погибнут враги Израиля!".

Он часто делает это сам, посылая цветистые проклятия по адресу политических врагов.

*

– Вы этой эпохи уже не застали, в ваше время все уже было живее, а как тупо и тускло было поставлено преподавание в средне-учебных заведениях в мои отроческие годы.

"Цезар (обязательно Цезар, а не Цезарь) узнал через каких-то лазутчиков", о которых я, кажется, уже при вас упоминал. Они у меня в ушах завязли, потому что их конкретно представить себе не мог! Потом какое-то "деепричастие". Вы только вдумайтесь в нелепость этого слова. Или еще "обстоятельство образа действия". Попробуйте растолковать это "обстоятельство" четырнадцатилетнему балбесу. Вот я до сих пор не знаю, что это такое, а все-таки как-то обхожусь...

Гимназии я, как вы знаете, не кончил, ни в каком университете не был, а оказался не глупее иных других и не менее образован, чем они. Главное не в дипломе, а в желании знать".

*

– Директором моей гимназии был старичок из балтийских немцев по фамилии Закс, плешивый, с заостренным черепом. Пришел он как-то на мое горе на урок математики, которую я с колыбели люто ненавидел. Я рассеянно сидел за партой, обмахивался тетрадью, потому что от моего соседа изо рта несло пшеном, а от сапожищ дегтем и думал о моей горькой судьбине. Неожиданно меня вызвали к

доске, на которой красовались нарисованные мелом какие-то никому ненужные треугольники с таинственными обозначениями на их верхушках. Мне задавали какие-то вопросы ... один, другой... я стоял как вкопанный с мелком в руках, ничего не понимал и молчал.

Директор с жалостью посмотрел на меня и во всеуслышание на весь класс процедил:

– Тупоголовый!

Это было последней каплей, и такого я стерпеть не мог. Я надменно посмотрел на него, точно внезапно пробудился, и тем же тоном ответил ему:

– Остроголовый!

Скандал получился невообразимый. Меня хотели исключить из гимназии. Отца вызвали из деревни для объяснений. Но я не волновался. Я знал, что отец меня не выдаст и постоит за сына. Человек он был с норовом и с большой гордостью, а тут как будто "фамильная честь" задета. Историю эту как-то замяли, а гимназию я вскоре навсегда покинул по собственному желанию.

*

– Идешь бывало из гимназии к дому, в котором меня поселили. Проходишь стоянку извозчиков. Один из них непременно пристанет:

"Барчук, а, барчук, арихметику купи... У меня недорого есть, по случаю..."

Полюбопытствовав, остановишься, вступишь в разговор. А он задерет кобылий хвост:

"Вот тебе и арихметика!"

Все радостно хохочут, а самому хочется сквозь землю от стыда провалиться.

*

– Вчера я перелистывал том стихотворений Фета. Кто редактировал это издание? Высечь его следовало бы. Отличный был поэт, но из "Вечерних огней" надо столько стихов выпустить. Я был по-настоящему огорчен. Не знаю, кто придумал, что надо печатать в посмертных изданиях все написанное. Не дай Бог, если такое произойдет со мной – я вылезу из гроба и буду уничтожать лишнее, детское, незрелое, не обработанное.

*

Когда он начинает ругаться или говорить слишком откровенно о вещах, о которых принято молчать (а это он очень любит), Вера Николаевна с болью в сердце замечает:

– Ян, около тебя точно бес какой-то стоит. Не греши.

– Ну положим, что же в том, что я говорю, греховного? Ведь я говорю о самой прекрасной вещи в мире. Только ради нее и стоит родиться. Не могу же я всегда рассуждать на богословские темы или писать рассказы о молодых священниках, как тебе теперь нравится. В любви, любовном акте есть что-то божественное, таинственное и жуткое, а мы не ценим. Надо дожить до моих лет, чтобы до конца ощутить всю несказанную мистическую прелесть любви. Описать это словами невозможно. Это непередаваемо. Главное ведь всегда ускользает. Сколько я не пробовал – не получается или получается около, где-то рядом, но сути словами не поймать, на крючок не нацепить. Да это не я один – этого еще никто не выразил и не выразит.

*

Мы не раз проезжали на неспешащем, работающем на древесном угле автобусе мимо Кань, маленького прибрежного городка и курорта в окрестностях Ниццы. Иван Алексеевич всегда меланхолически посматривал на небольшой отель, расположенный у самой дороги.

– А он все тот же... за тридцать лет будто не изменился. Я жил тогда в Ницце в большой комфортабельной гостинице, в которой только и думали, как бы получше угодить русскому "prince'у". Было время карнавала, шумно и весело было не только кругом, но и на душе. Все было доступно – только и жди, чего твоя левая нога захочет! Я ухаживал за Х., моей соотечественницей. Постепенно добился взаимности и, наконец, почувствовал, что могу пригласить ее к себе. Но она неожиданно заупрямилась, ни за что не соглашалась прийти в мой отель и настаивала на поездке в Кань. Автомобилей тогда еще почти не было и путешествие на лошадях казалось мне бесконечным. Зато какая была потом ночь... Все отдать за нее и того мало. А эти пальмы в глиняных вазонах и тогда уже, словно часовые, стояли у входа. Что им до наших маленьких человеческих дел...

*

– На большом приеме у Клода Анэ, автора "Ариадны – молодой русской девицы", романа, имевшего в начале двадцатых годов шумный, но незаслуженный успех, хозяин дома познакомил меня с Падеревским, несколько удивленный, что я не был знаком со знаменитым пианистом.

"Вы можете говорить между собою по-русски", – добавил Анэ.

Падеревский весь передернулся. Он сухо, с каменной гордостью протянул мне руку, очень официальным тоном процедил "Enchanté" и тотчас куда-то испарился. До чего не любил русских!

*

Он писал рассказ, героиней которого была проститутка.

– Я начал писать его в первом лице и из-за этого не могу дать никаких подробностей. Как-то неловко писать "я" и потом передавать детали. А жалко. Ей-Богу, рассказ был хорошо задуман, да не выходит.

*

– А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Сказал даже грубее!).

–??

– А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помните – да вы, конечно, помнить не можете – у Бенедиктова про наездницу, которая гордится "усестом красивым и плотным". Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы вам непременно почитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта, да и умнее, но это само собой разумеется. Вы бы тогда усумнились в Белинском. Впрочем, вы и Белинского, вероятно, не читали; ваше поколение его уже презирало, и зря. Вспомните только отношение к нему Лермонтова и все, что писал о нем Тургенев.

*

За столом долгий разговор о французской литературе. Сперва говорили об Анатоле Франсе:

– Это, конечно, ерунда, будто его слава закатилась и он обречен, – воскликнул Иван Алексеевич, – Многое из того, что он написал, не может умереть. Перечтите хотя бы "Красную лилию". Какая свобода, какое умение использовать материал, как легко и без тени напряжения передан

прозрачный флорентийский воздух. А с каким безошибочным искусством и чутьем изображены отдельные лица. Возьмите, например, его скульптора или его англичанку. Это живые люди, я чувствую, как они дышат. Конечно, Франс своей англичанки не придумал. Где-нибудь встречал он, должно быть, Вернон Ли, именно такой, как на его страницах, она и была. Ему и стилизовать ее пришлось очень мало. Отвечаю вам за это. Убежден, что Лев Николаевич с радостью согласился бы поставить свою подпись под этой книгой. (Это он любит говорить, когда хочет особенно расхвалить какое-нибудь литературное произведение, когда превосходная степень кажется ему недостаточной. Высшей похвалы в его лексиконе не существует.) Нет, Франс бесспорно создал вечные ценности и сейчас наблюдается какой-то преходящий снобизм подтрунивать над ним.

Разговор перескакивает на Флобера. Это один из его любимых писателей. Отдельные места из "Мадам Бовари" он цитирует очень часто и даже слово "боваризм" его особенно тешит.

– "Напряженный" писатель... Его "Три повести" надо каждому перечитывать хотя бы раз в год. Это изменение ритма в "Святом Юлиане", когда к концу повествования рассказ переходит уже в легенду, в житие, подлинно гениально, другого слова не сыщешь. Тургенев уж на что был мастер, а перевод его не вышел. Помните, как у Флобера раненый олень кричит "Maudit, maudit" (Бунин вытягивает при этом шею и старается мимикой изобразить агонизирующего зверя). Это протяжное "au-au" в "maudit" замечательно передает предсмертный стон, а тургеневское "проклят, проклят" ничего не изображает, а ведь тут звучание важнее смысла.

Есть отличные места и в "Искушении". Но над этой вещью Флобер пересидел, вымучил ее, создавая несколько вариантов. И "Education Sentimentale" хорошая книга, чуть растянутая. Да, кстати, переводить заглавие "Сентиментальное воспитание" просто безграмотно, но и "Воспитание чувств", предложенное Андреем Левинсоном, нехорошо. Я бы перевел, пусть это будет неуклюже, "Чувствительное воспитание". это как-никак ближе к мысли автора.

Бальзака совсем не могу читать. Вечно путаюсь в генеалогии, в родственных отношениях его героев и не могу его осилить, когда на пятидесяти страницах он начинает описывать кем, когда и кому была продана какая-то наследственная мельница или мануфактурная фабрика. Мне от всей этих деталей становится скучно, а скучную литературу я читать избегаю. Вот поэтому я готов заранее согласиться, что Мольер очень хорош, очень ценен – охотно это допускаю – но читать мне его не под силу, даже на сцене его пьесы меня не забавляют.

Помните, вы когда-то приносили мне одну за другой книжки "Потерянного времени". Я тогда Пруста довольно много прочел, хотя, вероятно, не все. Он несколько искусственен, но, несмотря ни на что, даже на бесконечные длинноты, очень хорош. Уж то хорошо и привлекательно, что до него никто так, как он, не писал. Открываешь книгу и с первой страницы попадаешь в какую-то его, прустовскую атмосферу. Он с детства был обреченным человеком и как все обреченные люди знал и чувствовал очень многое. Кроме него, таких страниц о ревности (И. А. имел, по-видимому, в виду главу об отношениях Сванна к Одетт, он уже до того этими страницами восторгался) никто создать бы не мог.

На мгновение он задумался и потом, точно спохватившись, добавил: "Положим, Толстой бы мог, если бы только захотел, только он никогда бы не захотел".

– А вот имена героев и заглавия его книг – а ведь это гораздо важнее, чем может показаться извне – у Пруста на редкость безвкусны. Разве это хорошо "В стороне Сванна" или "В стороне Германтов"? Это не звучит, это невкусно, хуже и придумать трудно.

А в другой раз он как-то ошарашил меня словами о том, что в некоторых главах "Жизни Арсеньева" есть, мол, немало мест совсем "прустовских", хотя это влияние на него Пруста неискушенному читателю малоприметно.

Я несколько раз приносил ему "на ночь" Стендаля, которого доставал в городской библиотеке, но наутро он мне говорил: "Одолел с трудом несколько страниц и отложил в сторону", а затем я слышал неизменную отговорку: "А

какое мне, собственно, дело до "вашего" Фабриса". Не помогала даже ссылка на толстовское преклонение перед Стендалем.

Случайно был у меня в Грассе томик сочинений Бодлера и Бунин брал его иной раз. "Маленькие поэмы в прозе" он считал ничтожными и мелодраматическими, отдающими "бальмонтовщиной", зато о "Цветах зла" говорил:

– Несмотря на присутствие декламации, какой талантливый поэт. Всю жизнь думал, печалился, страдал, а что осталось? Какая-то тощая тетрадь. – – И тут же с болью в голосе добавлял – "Да, жалки все мы".

*

Однажды он позвал меня к себе наверх и сказал:

– Я только хочу прочесть вам одну фразу из переписки Флобера (эти томики он постоянно возил с собой и очень берег, не давал никому читать). Вы только послушайте, что он писал своей долголетней приятельнице и любовнице, Луизе Колэ.

Он открыл томик, и я увидал, что фраза, которую он захотел мне прочесть, была отчеркнута густым красным штрихом.

– "Да, чего-то недостает в жизни, – начал он, – тому, кто никогда не просыпался в безымянной постели, не видал на своей подушке голову, которую никогда больше не увидит и кто, покидая эту комнату при восходе солнца, не перешел бы через какой-нибудь мост без желания броситься в воду...".

Это весьма примечательное письмо было мне знакомо, но тот факт, что оно как бы задело Бунина за живое мне был непонятен.

– Иван Алексеевич, почему эти слова пронзили вас, почему они могли вас взбудоражить?

– "Есть многое на свете, друг Горацио...", – отвечал он. – Письмо к Колэ замечательно уж тем, что это подлинный, мало с чем сравнимый крик души тридцатилетнего человека, совершенно не схожий со всем тем, что пытаются выдумывать литераторы, хотя бы наиболее талантливые. Еще потому, что то, о чем пишет Флобер, я сам никогда не переживал... хотя...

На этом "хотя" он запнулся и спустя несколько мгновений, вероятно, чтобы рассеять впечатление, произведенное его нечаянным "хотя", пояснил:

– Я перечитывал вчера эти письма и некоторые юношеские произведения Флобера. Читали ли вы его "Ноябрь"? Ведь это совершенно особенный человек, вот кого можно по-настоящему назвать "гением". В этом "Ноябре" такая смелость и уже такое свое, хотя автору было при писании семнадцать лет. Какая цельная фигура...Нисколько не француз, даже непонятно, что он мог родиться в Нормандии...!

*

– "Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые...". Ну, это, конечно, еще большой вопрос. На мой век этих "роковых минут" оказалось что-то больно много. А ведь подумать только, что эти строки написаны в связи с ничтожной с нашей точки зрения июльской революцией 1830-го года во Франции, когда свергли Карла X-го...свергли, ну и что?

А кстати, ведь "блажен, кто посетил сей мир" было бы лучше. Бунин не знал, что сам Тютчев переделал "блажен" в "счастлив" только через несколько лет после появления этого его стихотворения в альманахе "Денница".

*

Спикер в радио пространно цитирует статью Шарля Морраса, полную антисемитских выпадов. Это Бунина коробит.

– Говорят, что Моррас умнейший человек. Может быть, и правда, только у него мозги набекрень. Неужели он еще может вполне искренне носиться с мыслью о восстановлении монархии. Ведь это окончательно изжито – ни здесь, ни в Германии, не тем паче в России никогда монархии не быть. Всякому овощу свой сезон. Теперь надо быть сильным и жестоким, стучать кулаком по столу и не упиваться ниспровергнутыми традициями.

И он напевает: "Эх, эх, картошка гнилая,
Воротите Николая..."

*

Принято думать, что у Бунина не в меру ироническое отношение ко всем собратьям по перу, особенно к молодым

и начинающим. Это, конечно, легенда. Когда разговор о ком-нибудь из писателей следующего поколения ("незамеченного", как его кто-то окрестил) или кто-то пустит едкое замечание, он непременно взъерепенится, вступит в спор, начнет "обвиняемого" защищать – без малейшего покровительственного тона.

– Критиковать легко, а попробуйте сами такое написать. Раз талант есть, выпишется. Никто сразу "Войны и мир" не создал.

Насмешки и шпильки пускает только по адресу уже признанных, но тех, которые ему близки, всегда расхваливает и умалчивает даже то, что не могло прийтись ему по душе.

Особой нежностью пропитаны его высказывания об "Алешке" Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним "на заре" эмиграции:

– Будучи в Париже он не раз мне с надрывом говорил: "Вот будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: "Царь-батюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь". А ведь "царя" он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу сидеть, попивать винцо и все изобретать какие-то китайские пытки для большевиков – ведь он их тогда ненавидел.

Я однажды зашел к нему, когда он умывался.

– Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой самому от этого жутко становится!

Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ничего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:

– Прихожу я раз домой навеселе, что-то меня рассердило и я начал буйствовать. Кричу на весь дом – "Сейчас угол у камина отобью" (не повторю, каким способом). Прибежали дети, плачут, кричат "Папочка, не надо", еле они меня успокоили.

Но какой он работяга. Всю ночь кутит, в пятом часу возвращается домой, а в девять уже за письменным столом, голову помажет "бом-банге", обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет. Ведь "Петра" он начал готовить еще будучи в Париже, еще тогда начал собирать материалы.

Прекрасно все чувствует, даже петровскую эпоху почувствовал, от которой отказался Лев Николаевич.

Еще большей симпатией пользуется у него Алданов.

– Этому человеку я верю больше всех на земле.

А когда Алданов покинул Францию, он с горечью сказал:

– Теперь здесь я уже совсем один остался.

Получив коллективную открытку из Лиссабона от Алданова и тогда близких ему Цетлиных, которые застряли в Португалии по пути в Америку, он был подлинно растроган.

– Сегодня у меня хороший день. Двадцать лет вместе прожили и вдруг все рухнуло, все теперь разъединены. А они снова вместе и не забывают меня-старика.

Между тем по отношению к группе символистов он всегда крайне пристрастен и проникнут – казалось бы уже несвоевременным – полемическим задором. Старинные битвы не забыты. Кажется, еще больше старается делать вид, что не выносит творчество Блока, чем оно ему на самом деле чуждо. О Блоке он составил целое "досье" с выписками из его статей, писем, дневников (значит, им по-настоящему интересовался!). В пылу спора побежит за своими выписками наверх и "убивает" оппонента цитатой. Что на них отвечать? Вырванные из контекстов записи отдельных фраз, действительно, могут казаться смехотворными, – ну что сказать по поводу выписки из блоковского дневника, сделанной в день гибели "Титаника" – "есть еще Океан" или еще "Я, хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной звезды и в перламутр и аметист метели"? Особенно потешало Бунина блоковское посвящение Брюсову: "Кормчему в темном плаще – путеводной зеленой Звезде". "Этот лабазник – кормчий в темном плаще", – подхихикивал Бунин.

Не раз он мне говорил:

– Почему вы делаете такую кислую гримасу, когда я упоминаю Васнецова и трясетесь от восторга от "Куликова поля" с его лебедями над Непрядвой? Ведь это из одной и той же оперы.

Иногда он начинает распевать на мотив шансонетки какие-нибудь строки из "Двенадцати", ворча "какая пошлость" и уверяя, что частушечный лад поэмы – грубая

подделка, дешевое желание подладиться под непритязательного читателя. Особенно его раздражало вставленное Блоком в поэму словцо "електрический" – ("Електрический фонарик /На оглобельках...") и он утверждал, что никакой Петруха такого словечка и произнести не смог бы. "Все подделка". Нелюбовь его к Блоку переносится даже на физический облик поэта.

– Я вам нашел его портрет и подарю. Лежа у себя, вы сможете любоваться его отвислой, дегенеративной губой...

Еще больше раздражения вызывает в Бунине упоминание имени Андрея Белого. Он признавал его обаяние, но вопил, что Белый – "полубес, полушут", шпынял меня им, зная, что когда-то с Белым у меня были дружественные отношения, а потом снова раздражался, вспоминая о том его портрете, который нарисовал Белый в своих воспоминаниях.

– "Серебряный голубь" – сплошная безвкусица, сплошная претенциозность. Это мир восковых кукол, делающих черт знает что. А в "Петербурге" я наткнулся на фразу: "Аблеуховы все попукивали и попукивали..." Дальше я читать не стал, я слишком от природы брезглив. Кажется этот кирпич я просто сжег. Да и какая идея у книги гнусная "Быть Петербургу пусту"... чем же Петербург ему не угодил?

*

– Вы и Ходасевича в Пушкины возвели. "Гнилой рябчик", как он сам о себе очень метко выразился. Написал несколько очень аккуратных стихотворений – даже умных, не спорю. Но со своим маленьким чемоданчиком прошествовал по жизни с таким видом, точно у него горы багажа. И это на многих действовало.

Вот незадолго до его смерти я прочитал его воспоминание о Горьком и подумал – "Тьфу, до чего хорошо, как дельно и умно, пожалуй, лучше и не скажешь. Только, может быть, не ему следовало эти воспоминания писать".

*

Бунин до "Лолиты" не дожил, но уже в те годы – еще не зная, что Набоков впоследствии в "Дальних берегах" проснобирует приглашение вместе поужинать в каком-то элегантном парижском ресторане, с большим сочувствием отзывался о первых вещах молодого писателя, появившихся под псевдонимом "Сирин":

— О, это писатель, который все время набирает высоту и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе, но это — рыжий в цирке. А я грешным делом, люблю талантливость даже у клоунов.

*

Перелистывая какую-то устаревшую антологию, он наткнулся на державинское "Видение мурзы", которое очевидно выветрилось из его памяти. Восторгу его не было конца. В течение долгих недель он то и дело повторял:

"Нет, подумайте, что этот татарин сочинил — "палевый луч луны", точнее не придумаешь. Как он мог это найти?"

Неоднократно вечером он звал меня к себе, подводил к одному из своих окон и улыбаясь говорил: "Поглядите на палевый луч луны", а вместо обычного приветствия каждого гостя встречал Державиным и декламировал: "На темно-голубом эфире / Златая плавала луна...". Гость становился близким другом, если он мог продолжить державинский текст!

*

Как-то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать мне о том, что он ведет дневник и, чуть смутившись, добавил, что невольно делает это с оглядкой на печать. "Ведь это профессиональная деформация", — добавил он улыбнувшись, но одновременно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти дневники он увидел в печати. — Впрочем, о многом я не мог писать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы с моими дневниками не случилось, полный их текст никогда не увидит света."

А затем он стал говорить об "Исповеди" Руссо, о дневниках — "официальных" и тайных Толстого, уверяя, что высказываться до конца уместно только с целью покаяния. "А вы в состоянии представить меня в роли кающегося грешника?" Потом вспомнил слова блаженного Августина и уже другим голосом произнес — "Господи, пошли мне целомудрие, только не сейчас..."

– Эта фраза, – продолжал Бунин, – меня всегда умиляла, до чего же она прекрасна. Да ведь и я готов молить Бога о "целомудрии", в более глубоком смысле, чем обычно придают этому понятию, только, чтобы оно было мне ниспослано не сейчас, не сразу, а потом, когда-нибудь...

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное или протокольно отмечать пережитое противно его природе. "Я умею только выдумывать", – утверждал он и вслед за этим перепрыгнул на Мережковских, иронизируя над ними (это всегда доставляло ему большое удовольствие):

– Вот помрет Зинаида Николаевна и, если тогда еще будет существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них вдоволь будет рассуждений о всяких встречах и беседах – непременно на "серьезные" – темы, при том все будет описываться с ехидством, с подковыркой. Пророчества она любит изрекать "постфактум", да еще серийно. Она сушит затем чернила на свече, чтобы все записи выглядели одинаково, якобы были сделаны в одно время. Ведь почерк у нее знаменитый, за семьдесят лет ни малейшего изменения, никто никогда не разберет, что и когда написано.

*

Я почти дословно переписываю запись, сделанную мной в ноябре 41-го года:

"После долгих разговоров о смерти, теме, к которой он то и дело возвращался с содроганием и отталкиванием, непрестанно о ней думая и начисто отрицая возможность загробной жизни, он поднялся к себе и позвал меня. Всегда гордившийся холеностью своего тела, он теперь был чем-то явно огорчен. "До чего прекрасная была у меня когда-то правая рука, сказал он, левая, та никогда не была хороша – и что теперь с ней стало, покрылась гречкой, стала дряблой. Проклятая старость..."

В этот момент я заметил на его письменном столе большой конверт, на котором стояло одно лишь слово "Сжечь". Я невольно улыбнулся, потому что подумал, что он, как водится, хочет сжечь свои черновики и кому-то это дело поручить.

– Вы напрасно улыбаетесь, – промолвил он, – я хочу, чтобы меня после смерти сожгли.

Однако, вскоре под влиянием Веры Николаевны он этот конверт уничтожил.

*

Он был очень падок на всякие патентованные лекарства, едва увидев у кого-нибудь неведомую ему коробочку, старался и для себя заполучить такую же, затем тщательно изучал составные части данного фармацевтического препарата и уверял, что разбирается в лекарствах лучше любого доктора. Можно без преувеличения сказать, что его коллекция фармацевтических флаконов и коробочек могла стать предметом зависти любой аптеки, особенно в военное время. Этой своей "коллекцией", человек, враждебный любому виду коллекционирования, заполнил до краев несколько чемоданов.

*

Бунин, как и многие русские писатели, боялся "дурного глаза", боялся пройти под раскрытой лестницей или — за отсутствием того зайца, который перебежав дорогу, помешал Пушкину бежать из Михайловского — содрогался, если его путь перебегала черная кошка. Он не сел бы за стол, если бы оказался тринадцатым. Впрочем, как мне кажется, все это было скорее "театром для себя", чем подлинным чувством. Во всяких суевериях он ощущал дань традициям. Зато с каким-то странным безразличием, даже с долей презрения относился к картам и картежникам. Мастей он совершенно не различал. Это, можно думать, вызывалось тем, что его отец в свое время проиграл в карты состояние, свое и женино, и этот проигрыш в корне отразился на всем образе жизни молодого Вани. А это не забывается...

*

Очень долго он не хотел примириться с новой орфографией, серьезно уверяя, что никакое слово "без твердого знака не стоит на обеих ногах", а затем картинно пояснял, что "лес" без "яти" теряет весь свой смолистый аромат, тогда как в "бесе" через "е" уже исчезло все дьявольское!

*

"Петлистые уши"... Алданов когда-то восторгался тем, что я мог такую черту в ком-то походя приметить", — говорил мне Бунин в автобусе, везшем нас из Грасса в Ниццу. А сразу вслед за этими словами я невольно подсмотрел, что он очень пристально наблюдает за одним из своих соседей, в котором я ничего примечательного не улавливал. Видя мой вопросительный взгляд, он не удержался

и воскликнул: "Это даже ужасно, сколько скрытых вещей я теперь способен увидеть и почувствовать. А жизнь ведь позади... Каждого прохожего, едва на него взглянув, я вижу насквозь и могу написать о нем рассказ. От этого мне иногда становится даже как-то не по себе. Хотите, я вам расскажу биографию человека, который сидит рядом..."

Он был твердо уверен, что с первого взгляда способен раскусить любого встречного-поперечного и по каким-то смутным, едва уловимым, едва запоминающимся признакам нарисовать его психологический портрет. А несмотря на всю талантливость такого воображаемого портрета, как часто он ошибался в людях, сам того не замечая.

*

Его отношение к людям малознакомым было довольно удивительным: безграничное доверие к ним непонятным образом уживалось со столь же глубоким недоверием, особенно когда дело шло о материальной, прозаической стороне повседневности, проблем незначительных, сумм ничтожных. У него никогда не хватало терпения что-то считать, складывать, производить какие-либо, хотя бы самые элементарные арифметические действия. Пока дело касалось однозначных или в лучшем случае двузначных цифр, он умел быть расчетливым, даже чуть "гарпагонистым", Потому что вполне конкретно мог себе представить значимость каждого числа. Но если, упаси Бог, в его вычисления должны были впутаться какие-либо трехзначные ряды, а то и того более страшные, он окончательно терялся, становился беспомощно-нерасчетлив и необдуманно щедр, уверяя, что не создан для "высшей математики"!

В голодные военные годы в поисках дополнительного, "внекарточного" питания он иной раз в одиночестве и как бы "конспиративно" отправлялся с большим мешком за спиной в старый город. Там в кривых и крутых грасских улочках, по которым когда-то разгуливал Фрагонар, у бакалейщиков, которые его облапошивали, доставал какие-то сомнительного качества продукты, за которые, конечно, платил втридорога. Его, главным образом, интересовали яйца, колбаса и сигареты, и если он возвращался с добычей, то восторгу его не было конца-краю, и хотя об удаче или неудаче своей экспедиции он домашним не говорил ни слова, по одному выражению его лица можно было безошибочно определить ее результаты.

Но если ему, хотя бы за полцены или того меньше, предлагали те же продукты с тем, что они будут ему доставлены на дом через день-другой, но деньги надо выложить вперед, он ни за что на такую сделку не соглашался, Сделка должна была завершиться тут же при нем – деньги и товар "на бочку", никаких авансов он не признавал (кроме редакционных себе!) и неизменно приговаривал при этом свое любимое – "Ах, вы не знаете, ведь злых людей на свете много"!

*

Даже в дни изобилия, наступившие после получения нобелевской премии, он очень скоро стал мысленно предвосхищать, что не сумеет ничего удержать и рано или поздно окажется у "разбитого корыта". В этом отношении он себя хорошо знал и тут несомненно сказывалась наследственность, воспоминания о той обстановке дворянского оскудения, которую так выпукло и совсем не бесталанно описал ныне забытый писатель Терпигорев-Атава. Впрочем, и сам Иван Алексеевич не раз вдохновлялся той же близкой ему и поэтому болезненной темой.

Может быть, этим и объясняется, что когда у него, наконец, возникла реальная возможность за сравнительные "гроши" приобрести в излюбленном им Грассе небольшой домишко, чтобы впредь не думать о крыше над головой, несмотря на советы друзей и близких, он на такой шаг не решился. Ему казалось, что русскому писателю Бунину "не к лицу" стать каким-то домовладельцем, каким бы этот его дом не был миниатюрным, и его лирические стенания, выраженные в довольно пронзительном стихотворении со строфой:

*"У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.*
*Как бьется сердце, горестно и громко,*
*Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом*
*С своей уж ветхою котомкой!",*

были своего рода "поэтической вольностью". Он легко мог избежать необходимости входить в "наемный" дом, но оседлость была чужда его природе, а создание уютного жилища не было для него необходимостью, не было даже искомой целью. Все годы эмигрантского житья он колесил из Парижа в Грасс, из Грасса в Париж, иногда, если пред-

ставлялась возможность, непременно в одиночку, пускался в более далекие странствия, но создать для себя хотя бы элементарный комфорт, было не в его "стиле".

*

Еще несколько слов о бунинском доверии и недоверчивости, но совершенно из другой области. В военные годы в Грасс нередко наезжал известный русский художественный критик М., бунинский однолетка. Как-то он зашел на "Жаннетту" с визитом, аккуратненький, элегантный, надеколоненный, без единого седого волоса, но зато с моноклем в глазу. Зашел и за чашкой чая стал развлекать Ивана Алексеевича рассказом о своих недавных любовных похождениях без малого достойных Казановы.

Бунин с большим вниманием слушал фривольное повествование (он любил выслушивать такого рода "исповеди"!), втихомолку посмеиваясь и иронически разглядывая маститого гостя.

А когда гость ушел, он только сказал: "Ну и враль!".

Однако, к вечеру, спустился из своей комнаты видимо чем-то расстроенный и угнетенный.

– Что с вами, Иван Алексеевич?

– Вы знаете, я все время думал, ну а, может быть, вдруг все, о чем нам поведал сегодняшний гость – правда!

Возможность столь блестящих любовных достижений у человека его возраста вызывала в нем подлинное чувство зависти, – хотя зависти он в общем был совершенно чужд.

*

Я никогда не замечал, чтобы он завидовал чужой славе, деньгам, физическим данным. Зато рассказы о чужих любовных успехах в какой-то мере будоражили его, а иногда даже угнетали. Он очень хотел, чтобы его считали Дон Жуаном и, когда был в настроении, пространно распространялся о своих былых похождениях, о своих "mille e tre". Впрочем, надлежит отметить, что в этой области полет его фантазии был довольно ограничен и "изобретательности" он не проявлял.

Я, естественно, незнаком с его дон-жуанским списком, но если только судить по его рассказам, список этот

не должен быть слишком длинным. В любовных делах он был, по-видимому, робок и не умел проявлять импонирующую женщинам агрессивность. У него, как впрочем и у большинства мужчин, было больше упущенных возможностей, чем конкретных достижений. Не зря же на старости лет в одном из своих писем ко мне он писал: "Не верьте дяде, он больше на словах города брал"!

*

Как и некоторые другие русские писатели, особенно те, которым о древности их рода приходилось напоминать, Бунин, когда на него находило, любил очень смачно распространяться о том, что бунинский род происходит от какого-то "мужа знатного" Симеона Бунковского, еще в XV-м веке выехавшего из Польши или Литвы (не помню точно) к великому князю Василию Васильевичу и что Бунины включены в шестую часть гербовника дворянских родов. Это было, конечно, не пушкинское "шестисотлетнее дворянство", но все-таки... и вопреки своим утверждениям, Иван Алексеевич не был "вполне равнодушен к своей голубой крови".

Еще больше он гордился тем, что к его роду принадлежала довольно замечательная женщина начала прошлого века, глубоко несчастная поэтесса Анна Бунина, болезнь которой тогда считалась неизлечимой. Бунину льстило даже то, что тогдашний министр народного просвещения и адмирал, зря осмеянный за свое пристрастие к славянизмам, Шишков, выхлопотал ей у Александра I значительное по тем временам денежное пособие. Бунин не раз расхваливал творчество своей прабабки, хотя едва ли искренно восторгался ее виршами. Читал ли он их? Читал ли он посвященную Державину оду, прославившуюся тем, что над ее первыми строчками:

*"Блеснул на западе румяный царъ природы,*
*Скатился в океан, и загорелисъ воды..."*

потешались уже лицеисты пушкинского выпуска.

Но особый пиэтет вызывал в Бунине Жуковский, хоть, вероятно, втайне он не слишком его любил, сентиментализм ему был чужд, но недаром говорится, что "noblesse oblige"! Он никак не мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки Сальмы не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному Василия Андреевича Жуковского. "А ведь не были бы придуманы "нелепые" узаконения, был бы поэт Буниным", — приговаривал он.

Еще больше, чем эти законы, Бунин ненавидел всех, кто мог посягать на репутацию "тишайшего" поэта, кто принижал автора "Певца во стане русских воинов", выставляя напоказ как его домашность, так и его облик придворного. И то, и другое, по его мнению, не вязалось с "поэзией сердечного воображения," зато Бунин был крайне удовлетворен тем, что вычитал где-то слова Блока – "Первым вдохновителем моим был Жуковский". "Хоть раз сказал он что-то путное", – смеялся Иван Алексеевич, словно в этот момент примирившись с Блоком!

*

На "Жаннетте" как-то гостила родная внучка Толстого, Татьяна Львовна. Она настаивала на том, чтобы Бунин "угостил" ее чтением какого-нибудь нового рассказа. Читал он тогда вслух редко и без особой охоты, но всегда прекрасно. Тут он сопротивляться не мог, "законы гостеприимства", и в честь "внучки" прочел рассказ "Баллада".

"Иван Алексеевич, где вы выкапываете подобные истории, ведь придумать этакое немыслимо...", – обратилась к нему гостья.

Бунин кисло ухмыльнулся, разговоров об источниках своего творчества не переносил, считая их чуть ли не бестактностью, "залезанием в его душу".

"Вот, постоянно мне такой вопрос ставят, точно я где-то что-то подслушал и потом взял перо и занес на бумагу. Нет, все, что я пишу, всегда из головы. Всю фабулу "Баллады" я сам сочинил, сидя у себя на Оффенбаховой улице. Деньги были нужны до зарезу. Я и состряпал наскоро этот рассказ для милюковской газеты. Дело простое. Но не подумайте, что я что-либо "приврал", вся моя "Баллада" в пределах вероятного и в моей молодости я подобных странниц, как ту, что я описал, навидался до пресыщения, ведь в мои молодые годы они постоянно шатались по помещичьим усадьбам.

Все же в другой раз Бунин признался, что "Дело корнета Елагина" – один из немногих его рассказов, заимствованный из газетной хроники."Конечно, я многое переделал по-своему, но в основе лежит нашумевший некогда процесс артистки Весновской, слушавшийся в варшавском окружном суде. А убийцу защищал "сам" Плевако. Ведь вы,

небось, даже не в состоянии понять, что это тогда означало. Мне случайно попала в руки бульварная брошюрка об этом сенсационном деле. Каюсь и прошу прощения, ее я, действительно, использовал. А чтобы вы лучше поняли весь шум, вызванный этим процессом, — добавил мне в назидание Иван Алексеевич, — напомню, что один из первых русских длиннометражных фильмов с участием тогдашней "звезды экрана", Веры Холодной (да, вы, вероятно и имени этого не слыхали!) назывался "А ее защищал Плевако". Вот вам... А почти все остальное я сочинил. Даже "Жизнь Арсеньева"!... Но о ней не будем говорить, а то вы в меня вцепитесь еще раз...".

*

Еще о "внучках". В первые годы войны, в сумрачные и очень голодные дни Бунин от кого-то узнал, что в Ницце в большой нужде прозябает внучка Пушкина, дочь его сына Александра, по мужу госпожа Розенмайер. Известие это очень Бунина взволновало. "Как же так — внучка Пушкина, а мы ничего о ней не знаем и сидим тут сложа руки", — вопил он. Чуть ли не на следующий день по получении известия о внучке он устремился в Ниццу, разыскал ее и привез погостить в Грасс, окружив ее всяческими заботами и даже делясь с ней тем, что было припрятано от "злых людей" на его вышке.

А между тем, Бунин едва мог скрыть, что "внучка" его в конец разочаровала, весьма неуклюже спекулируя своей родословной и без тени убедительности рассказывая — в который раз — о каком-то тысячестраничном пушкинском дневнике, местонахождение которого ей одной известно, но... Впрочем, на это самое "но" попались, как на удочку, и некоторые именитые пушкинисты, хотя было довольно очевидно, что вся придуманная "внучкой" авантюрная история с дневником не выдерживает серьезной критики.

"А ведь все-таки пушкинская кровь", — сокрушался Бунин.

*

Вспоминаю еще, как примерно тогда же, то ли в Ницце, то ли в Каннах, разбазаривалось с молотка наследство

княгини Юрьевской, морганатической супруги Александра II, его "Кати", скончавшейся – это почти невероятно – незадолго перед тем где-то на Ривьере. Иван Алексеевич снова до крайности взволновался. "Ценнейшие письма, бумаги, всякие сувениры распылятся, попадут в чьи-то руки, для которых они не будут иметь надлежащей ценности", – шумел он.

Бунин сразу же "поскакал" в Канны к бывшему нефтяному магнату Г., с которым по старой памяти еще поддерживал отношения, чтобы уговорить его приобрести имущество Юрьевской. Больших капиталов, как впоследствии выяснилось, для этого не было нужно. Магнат, хоть и никогда не был меценатом, обещал выполнить просьбу Бунина, который вернулся торжествующим. Однако, обещания так и остались обещаниями. Куда попали ценные для истории России документы, мне неизвестно, хотя я в свое время старался навести по этому поводу справки.

## V

Когда, общаясь с Буниным или живя под его крышей, я делал кое-какие записи, я меньше всего думал об их опубликовании. Но затем многое стало мне вспоминаться, что по разным причинам я в свою тетрадь не занес и, как всегда бывает, произошел невольный отбор памяти. Кроме того, иной раз мне задавали наводящие вопросы, касающиеся отдельных эпизодов бунинской жизни и мне казалось, что мой долг правдиво на них ответить и описать то, что я мог видеть своими глазами. В результате к старым записям прибавились более поздние, которые в каком-то смысле – помимо моей воли – написаны в несколько измененном ключе.

Ведь недаром: "бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас", и сегодня, на отдалении, Бунин для меня уже не совсем тот, каким я видел его в свое время. Если бы это было не так, то все напечатанное на этих страницах должно было бы показаться надуманным и далеким от какой-то внутренней правды.

В этой главке я остановлюсь на некоторых фактах, о которых меня просили рассказать, в их числе – о размолвке между двумя старейшими писателями Зарубежья – Буниным и Зайцевым. Признаться, душа у меня к этому не лежала, тем более, что теперь вся эта история покрылась архивной пылью, да и когда она происходила, в известном смысле она была "бурей в стакане воды", даже если эта "буря" причинила Бунину много горьких минут.

С грустным чувством вспоминается, что 1947-ой год был для Ивана Алексеевича годом, полным всяческих невзгод, в некотором отношении краеугольным. И. А. почти беспрестанно болел, то был подолгу прикован к постели затяжным гриппом, то обнаруживались еще другие, более неприятные органические недомогания. А в придачу к этому он все больше волновался из-за отощания своего бумажника. Естественно, что каждая новая болезненная вспышка все отчетливее отражалась на его психике. Он все трезвее чувствовал, что все кончается, все от него ускользает, что вот-вот придет час расставания с этим миром, который он ругательски ругал, но все же считал прекрасным. Раньше он исчислял время годами, теперь строил планы только на месяцы вперед и все чаще стал, в разговорах и письмах, применять толстовское "е. б. ж."

И как раз в этот самый период произошел непредвиденный инцидент, который испортил ему много крови, хотя, не будь он в изнуренном состоянии, он, вероятно, с полным безразличием прошел бы мимо него.

С первых лет эмиграции существовал в Париже "Союз русских писателей и журналистов", бессменно возглавлявшийся Милюковым, который пользовался уважением даже у своих политических недругов. Нельзя не признать, что Союз этот делал немало добра. Он не только в меру своих крайне скудных возможностей приходил на помощь наиболее нуждающимся литераторам, но, что было особенно заманчиво, брал на себя всю волокиту и все хлопоты, связанные с продлением "карт д'идентитэ", то-есть, французских видов на жительство, да еще в придачу по льготному тарифу. Этим и объясняется, что в числе членов Союза оказалось несметное количество "мертвых душ", которым Секретарь Союза по каким-то своим соображениям хотел услужить.

Но миновала война. Милюков умер и престиж Союза сразу поблек, а число его членов сильно сократилось – подлинно случилось, "иных уж нет, а те далече". Пост председателя Союза занял тогда Борис Зайцев, а фактически его заправилой оставался секретарь Зеелер, ростовский городской голова эпохи Временного Правительства, человек неплохой, хоть и чуть меднолобый, любивший заниматься тем, в чем мало разбирался и особенно щеголявший своей дружбой с Репиным. Эта дружба, а отнюдь не его писания, были, так сказать, его "патентом на бессмертие"!

Тут-то Союзу и показалось нужным чем-то себя проявить. В результате обычных в общем в таких собраниях происков и свар, кое-кто из членов правления по инициативе своего секретаря решил демонстрировать белоснежность своих риз, и, вопреки уставу Союза, исключить из его состава весьма малочисленную группу членов, соблазнившихся получением советского паспорта. Надо отметить, что до этого никто никогда политической платформой или паспортами членов Союза не интересовался: Союз был организацией профессиональной и поэтому предложение правления для многих явилось полной неожиданностью. Но для проведения его в жизнь требовалось изменение устава, другими словами, созыв правомочного общего собрания.

Собрание было вскоре созвано и на него густой толпой явились все "мертвые души", числившиеся в списках членов Союза, и совсем незначительное количество людей пишущих. "Карт д'идентитэ" еще приходилось иногда менять! – и устав был изменен и по правленческой шпаргалке советские граждане исключены.

В знак протеста против таких "антидемократических" мер, явно нарушающих дух старого Союза, группа "молодых" (все относительно!) литераторов – к ним присоединилась и Вера Бунина, которая издавна была членом Союза – покинули его. При этом, главным мотивом ухода было не столько политическое его содержание, – о нем мало кто думал, – сколько обида за приятелей, с которыми общались и дружили годами, то-есть, попросту желание проявить с ними известную солидарность.

Сам Бунин, числившийся почетным членом Союза, но никогда прямого отношения к нему не имевший и активно в нем не участвующий, отказался присоединиться к группе "протестантов". Тем не менее, аналогичный шаг он предпринял двумя неделями позже, так сказать, в строго индивидуальном порядке, мотивируя свой уход причинами чисто личного характера.

Тут-то и началось! Его уход вызвал не в меру острую реакцию и, в первую очередь, буквально "вспыхнула" проживавшая в Нью-Йорке любительница литературы, госпожа Ц., связанная с Буниными долголетней дружбой. На правах меценатки она стала циркулярно рассылать "открытые письма" всем общественным и литературным деятелям зарубежья. Содержание этих писем было настолько высокопарно, что вряд ли можно предполагать, что этот текст был составлен единолично ею. Для таких дел помощники всегда находятся!

Но дело было не в том, что в письме, написанном в вызывающе-поучительном тоне, говорилось о якобы "крестном пути", избранным Буниным ("крестный путь" - выход из Союза! До чего можно договориться!), – не это оскорбило писателя. Главная бестактность послания заключалась в том, что прекрасно зная его парижский адрес, отправительница направила письмо в открытом виде для передачи по назначению – Зайцеву, который совмещал обязанности председателя Союза с редактированием литера-

турной страницы газеты "Русская мысль" (по своему облику мало похожей на то, что она представляет сегодня). Газета уже до того затеяла весьма злостную и мелко-язвительную кампанию против Бунина, которую литературный редактор пропускал, а, по словам Бунина, над которой "не без радости ухмылялся". Как бы то ни было, нью-йоркское письмо стало чуть ли не на следующий день после получения его самим Буниным известно всему русскому Парижу.

"Делать из мухи слона" — было то, что больше всего раздражало Бунина. Он был подлинно удивлен — не тем, что нелепости, которые появлялись на "всетерпящей" газетной бумаге, никак не соответствовали действительности, а именно тем, что они распространялись с ведома старого приятеля, Зайцева. Это и привело к разрыву между ними, при чем этот разрыв задел Бунина гораздо глубже, чем он это показывал. Но — странным образом — человек незлопамятный, в данном случае он проявил необычайное упрямство и не поддавался ни на какие уговоры Веры Николаевны, искавшей путей к примирению. Нанесенная ему рана или ранка не зарубцевалась до самых последних его дней.

Как курьез, отмечу, что Бунин "в отместку" сочинил тогда несколько довольно колких эпиграмм по адресу Зайцева (как мне досадно, что я их не запомнил и своевременно не записал) и они несомненно до Зайцева дошли. Услужливых друзей у обоих было вдосталь! Кроме того, Бунин не переставал язвить над некоторыми не вполне удачными зайцевскими фразами из его книги о Жуковском, которого — стоит ли повторять — Бунин считал своим предком по прямой линии и всегда лелеял его престиж. А тут, к примеру, он наткнулся на фразу — "Жуковский с Наследником проехался по пирожкам". Это было выше его сил! Пирожков в бунинском обиходе не водилось, но угощая своих гостей сухим печеньем, Бунин неизменно с улыбочкой присовокуплял: "а теперь проедемся по печенью!" Не счесть, сколько раз эту фразу я из его уст слышал.

Трудно судить, кто в происшедшей ссоре прав, кто виноват и есть ли тут вообще правые и виноватые. Дело не в самих фактах, а в том ключе, в котором они происходили. Но, во всяком случае, если Бунин начисто отрицал политический смысл своего выхода из Союза, то политика или,

вернее, политиканы с радостью за выход его ухватились, чтобы усилить свои заведомо лживые обвинения в "просоветских" настроениях Бунина.

Одно все же несомненно – Союз, руководимый Зайцевым, и газета, часть ответственности за которую он разделял, не предприняли никаких шагов, чтобы эту кампанию пресечь, как, кстати сказать, не предпринимали ничего против тех своих сочленов, которые почти накануне распевали хвалебные гимны "освободителю России" или со злой иронией говорили о "черчиллевских молодцах", раз-другой бомбивших промышленные окраины Парижа.

Выход Бунина из состава Союза – факт в его биографии совершенно незначительный, тем более, что общественным человеком он никогда не был, да и по своему характеру не мог им быть. Но этот шаг был не в меру раздут некоторыми буниноведами (в частности, советскими), которым была недостаточно знакома подлинная его подоплека.

Впрочем, "из песни слова не выкинешь". Факт ухода из писательского Союза был для Бунина, главным образом, прискорбен тем, что разъединил двух старых друзей, близких еще по Москве, со времен телешовских "сред", тем немногим, чем еще – хотя бы полусерьезно – Бунин мог иной раз аукаться в наступающих для него сумерках.

Так уж пошло, что Бунина принято было считать традиционалистом, а иногда приклеивали к нему ярлык "консерватора" и до сих пор – через столько-то лет после его смерти! – приходится иногда слышать, что он, якобы, был человеком "правых" убеждений. Мне все же кажется, что довольно вздорно прикреплять к нему какие-либо политические этикетки. Правый, левый – что это, собственно, может означать в применении к человеку, который был органически чужд политики, чьи убеждения бывали нередко подвержены колебаниям, как подвергались колебаниям и его отношения к отдельным лицам.

Впрочем, с людьми его отношения осложнялись тем, что подчас он мог убедить себя, что коль любить, так без оглядки" (имею, конечно, в виду только сферу дружеских отношений). Он способен был привязаться к человеку, заранее зная все его недочеты, не считаясь с ними и – больше того – может быть не вполне ясно сознавая, чем ему

данный человек потрафил: полюбился и все тут... Зато редко когда он мог подолгу ненавидеть.

Что касается бунинского традиционализма, то тут несомненно действовали какие-то наследственные комплексы, в силу которых он, например, вставил в "Жизнь Арсеньева" не вполне совпадающее с общей тональностью книги скорбно-лирическое описание отпевания в Каннах великого князя Николая Николаевича, к которому, собственно, всегда был равнодушен и о котором никогда не думал. Полускрытая символика этого описания была не совсем кстати. По тем же причинам он в своих "Воспоминаниях" с большой теплотой посвятил целую главу встречам с чудаковатым принцем Ольденбургским, некогда зятем царя Николая II, пописывавшем псевдо-народнические наивно-сладенькие рассказики под псевдонимом "Петр Александров". Бунину несомненно льстило, что "Его Высочество" (так озаглавлена посвященная принцу глава "Воспоминаний") предложило ему выпить с ним на брудершафт. А когда после получения им нобелевской премии шведский король приезжал в Ниццу отдохнуть и поиграть в теннис, который был его страстью (кстати, от одного из знакомых мне теннисных чемпионов я слышал о замысловатости этой игры с королем: не полагалось выигрывать, но, вместе с тем, нельзя было поддаваться и играть "спустя рукава"!), Бунин непременно завозил в отель, в котором останавливался "мой король", как он его именовал, свою загнутую углом визитную карточку.

Но это ни к чему не обязывающее "пристрастие" к членам различных династий было для него своего рода маленьким и безобидным развлечением, непривычность которого его и привлекала, да и то не дольше, чем в течение одного какого-нибудь дня. Редко можно было встретить человека, у которого, как у Бунина, не было ни малейших наклонностей к собиранию каких-либо "сувениров". Вот и нашлось что-то, что ему "раритеты" заменяло.

Не было у него и того, что неуклюже именуется "локаль-патриотизмом". Он любил Москву, но не менее уютно чувствовал себя в Одессе или в отцовском полуразоренном имении. Любил дальние странствия, Восток, Стамбул, который не переставал называть по инерции Константинополем, но затем полюбил скалистый средиземноморский островок

с его почти бутафорской красотой и, кажется, нигде он так усердно и усидчиво не работал, как именно на Капри. А затем он полюбил Париж, полюбил вполне искренне, но еще больше тихий Грасс, окружавшие городок жасминные и розовые поля, мало привлекательные для глаза, вид на Эстерель, в ясные дни вид на бесшумное море. В Грассе он чувствовал себя совсем "дома". Ведь в каком-то смысле он мог бы, не кривя душой, повторить крылатые слова знаменитого датского астронома: "Мое отечество там, где видны звезды". Бунину было хорошо там, где он мог спокойно работать, совершать прогулки, иногда встречать людей, ему симпатичных. А что было на заднем плане в сущности было для него второстепенным. Можно сделать вывод, что он был "космополитом"(теперь это стало бранным словом и применять его надо с осторожностью!), но такой вывод был бы в корне ошибочным. Он всегда оставался вполне русским человеком со всеми его достоинствами и недостатками, со всеми его пристрастиями и отталкиваниями. Но только Россию он носил в себе и никогда не напоказ. Она выливалась в его писаниях, более чем вероятно заполняла все его мысли в течение все учащавшихся бессонных ночей. Оттого-то было не так уж существенно, где он проживал и так случилось, что подобно Гоголю, Тургеневу, Герцену, а отчасти и Горькому лучшее из написанного им было создано заграницей.

Он порой любил вспоминать Москву, но обычно в каком-то бытовом разрезе, вспоминая первый снег и езду на саночках в морозные дни, вспоминал "Прагу" с ее рябчиками в черном сметанном соусе, но никогда не скорбел, что не увидит больше Василия Блаженного. Впрочем, собственно, единственные воспоминания, вызывавшие в нем подлинную лирическую грусть и которые в нем как-то кристаллизовались и не были подвержены капризам минуты, были воспоминания о вечерах, проведенных в доме на Чистых Прудах, воспоминания о пресловутых телешовских "средах", на которые собирались писатели для чтения написанного ими едва ли не накануне, чтобы не моргнув глазом (таков был неписанный закон) выслушать дружескую, но "жестокук" критику на эти их новорожденные произведения. Когда-то, когда он бывал в Москве, на собрания

приходил Чехов, иногда приезжал Шаляпин ("Вот здесь меня нужно слушать, а не в Большом Театре", – говорил он), а ему аккомпанировал Рахманинов. Бунину нравился воздух этих "сред", настолько, что чуть не полвека спустя, он без малого со слезой на глазах рассказывал о своеобразном уюте гостеприимного телешовского особнячка, о возникавших там неминуемых спорах, расхождениях и примирениях, о полночных ужинах, после которых все начиналось сначала.

В то же время некоторых постоянных участников этих самых "сред" он несомненно презирал, не стеснялся издеваться над их писаниями, трунил над их якобы народным одеянием, их поддевками, шелковыми косоворотками, сапогами с голенищами. Да, конечно, что могло быть общего у "утонченного" Бунина, в той обстановке подлинного "дэнди" (с галстуком от Шанкса, как он любил спустя полвека прихвастнуть) с каким-нибудь Скитальцем с его "гуслями-мыслями", с скучнейшим Серафимовичем или другими "подмаксимками", как их в те годы ядовито прозывали. Но как-никак все они были постоянными посетителями "сред" и потому в глазах Бунина все-таки заслуживали какой-то доли снисхождения. Кажется, только одного он до конца своих дней не мог простить Горькому – не мог примириться с тем, что один из сборников "Знания", выпущенный огромным тиражем "памяти Чехова", открывался виршами Скитальца. Эти вирши с привычной в таких случаях едкостью Иван Алексеевич декламировал еще в военные грасские годы:

*..."Он умер оттого, что слишком жизнь бедна,*
*Что люди на земле и грубы, и несчастны,*
*Что стонет под ярмом родная сторона...".*

Запомнил-таки их на всю жизнь... а как он их комментировал, лучше не вспоминать!

Но, конечно, в этом литературном "братстве" (которое частенько превращалось – прошу прощения за галлицизм – в "корзинку с крабами") наиболее сложными и наименее устойчивыми были отношения Бунина с Горьким. Как так? Да, они были неустойчивыми, несмотря на внешне чуть ли не "безоблачную" дружбу, длившуюся годами, на активное участие Бунина в распространеннейших горьковских

сборниках "Знание" и, что еще много удивительнее, на его сотрудничество в военные годы в горьковском журнале "Летопись", политический душок которого едва ли мог быть по вкусу Бунина.

Но в дальнейшем, хоть о Горьком-человеке Бунин написал весьма недружелюбно и порой заостренно, он вспоминал о нем редко, несомненно эти воспоминания причиняли ему боль. Что бы Бунин не говорил вслух, разрыв с Горьким, поводом для которого послужила их политическая несовместимость, не был им окончательно изжит. Как-никак Горький олицетворял значительную веху в его жизни, а это бывает трудно зачеркнуть начисто.

Конечно, Бунин не ценил горьковскую прозу, особенно позднюю, не мог одолеть пустыни "Самгина" (хотя, по словам Горького, он в самом Самгине частично воспроизвел Бунина и частично Поссе... Очевидно, в одну телегу иногда можно впречь и коня, и трепетную лань!), всегда уверял, что нет у Горького страницы, на которой "море бы не смеялось", отталкивался - с самой премьеры в Художественном театре – от прославленного, а по его мнению насквозь фальшивого "Дна" с его еще более фальшивым Лукой.

Но все-таки в его отношении к Горькому, как и в отношении Горького к Бунину, всегда проскальзывало что-то двоящееся, какое-то "нет, но...". Не только потому, что Горький, каковы бы ни были внешние обстоятельства, не переставал проповедывать, что учиться прозе надо у Бунина, а одновременно писал Пришвину, что "новые рассказы Бунина слабы и написаны "статически" или Федину – "Бунин переписывает "Крейцерову сонату" под титулом "Митина любовь". (Бедный Горький...) А в то же время Бунин внимательно следил за "маршрутами" Горького.

Хоть разрыв между двумя "друзьями" (это слово, конечно, необходимо в данном случае заключить в кавычки) имел определенную политическую подоплеку, но ведь и раньше, даже в период показной каприйской идиллии, их отношения, судя по скупым рассказам обоих Буниных, были далеко не однотонными.

Иной раз, в особенно мрачные и холодные грасские вечера, Иван Алексеевич, точно нехотя, все же отдавался

воспоминаниям о зимах, проведенных на Капри (их было три или четыре, следовавшие одна за другой), но тут же с нажимом подчеркивал, что как не тяжело живется ему в Грассе, он даже в качестве туриста не согласился бы посетить далекий "райский" островок, хотя бы на один день. Он не отрицал, что провел на нем много счастливых часов, работал продуктивно, физически всегда себя хорошо там чувствовал и, главное, был молод. Но попади он на каприйскую землю, – добавлял он, – на него сразу бы налетел ураган неприятных воспоминаний, он припомнил бы коробящие в их дешевой демонстративности горьковские театральные жесты, его постоянные наставления, неумеренное показывание своего превосходства, раздражающее и наигранное волжское "оканье".

Бунина всегда сердило, когда превозносили его "Деревню" в ущерб более поздним его произведениям, но еще больше его злили упреки Горького в "барском пессимизме", в том, что он – Бунин был, мол,озлоблен на русский народ и русская деревня (которую, как Бунин неоднократно подчеркивал, Горький едва знал) вселяла в него мрачные думы. А ведь Горький, как достаточно хорошо известео, по своему характеру вообще не хотел верить в грустные вещи и всегда старался искусственно обольщать самого себя и своих собеседников.

А повесть "Суходол", следовавшая за"Деревней", както сперва Горького очаровала, а потом сразу же разочаровала и в конечном счете оказалась для него неприемлимой, потому что, как язвил Бунин, он в ней вывел мужиков, но ни одного Платона Каратаева.

Вспоминается мне, как иногда во время ночных прогулок, когда на Бунина "находило" и он – в темноте, вдохновлявшей его на бо́льшую откровенность – рассказывал, что еще задолго до революции писал с Капри своему брату Юлию – своему ментору, что необходимость встречаться чуть не ежедневно с Горьким выбивает его из колеи, мешает работать. Собственно, он уже тогда чувствовал, что говорить им уже не о чем, все сказано и пересказано, а приходится имитировать дружбу и это создает только крайне фальшивое положение.

Это тем более правдоподобно, что в то же самое время Вера Николаевна со свойственной ей иногда "святой простотой" писала с Анакапри (городке на горе, куда они переселились, чтобы быть подальше от Горьких), что "отношения у нас с Горькими (с ними тогда находилась Марья Федоровна Андреева с ее театральными аллюрами) холодно-любезные и тяжко-дружеские". А что может быть более мучительно, чем необходимость постоянных встреч в таком климате?

Бунин не мог также забыть, что незадолго перед тем, прочтя его рассказ "Антоновские яблоки", Горький говорил своим "придворным": "Хорошо пахнут "Антоновские яблоки" – нда! – но пахнут отнюдь не демократично". Это определение его рассказа не столько смешило, сколько раздражало Бунина и он любил повторять это "пахнут не демократично", рассказывая, что в отместку ежевечерне сходясь с Горьким на Капри он все донимал его строкой Бенедиктова: "И лампада муз и граций упоительной луны...", уверяя своего собеседника, что это верх совершенства.

Горький, от рождения глухой к поэзии, должен был соглашаться, не зная говорит ли Бунин серьезно или смеется над ним!

Уравновесили ли "антидемократичность" "Антоновских яблок" более поздние горьковские восторги по поводу "Господина из Сан-Франциско" и письменное признание – "в моей суетной и очень тяжелой жизни вы, может быть и даже наверное – самое лучшее и самое значительное", судить не берусь. Замечание об "Антоновских яблоках", имевшее в те далекие дни, в эпоху сборников "Знание", особый смысл, могло Бунина больно уколоть, тогда как восторги по поводу "Господина из Сан-Франциско" могли уже оставить его равнодушным. Бунин был тогда хоть и тот, да не тот...

В своих "Воспоминаниях" Бунин не зря отметил, что "начало той странной дружбы, что соединяла меня с Горьким (кстати сказать, представил их друг другу Чехов), – странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были – начало это относится к 1899 году, а конец к 1917".

Конец дружбы или "псевдо-дружбы" – 1917, а все-таки смерть Горького и связанные с нею слухи, разошедшиеся точно круги по воде и в которые Бунин сразу уверовал, были для него сильным шоком, бо́льшим, чем можно предполагать. Мне иногда мерещится – хоть это с его стороны покажется чрезмерно эгоцентричным – что помимо скорби о все-таки близком соратнике, который хоть и не был вполне "своим", Бунину было досадно, что Горький не дожил до того, чтобы прочесть его "Чистый понедельник", который он считал лучшим рассказом из всех когда-либо им написанных.

А ведь, действительно, как прекрасен хотя бы его зачин, который мне хотелось бы тут же напомнить: "Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающая от дневных дел московская жизнь..."

Но этот несравненный ритм бунинской прозы – был бы ли он понятен автору поэмы "Девушка и смерть", которая по выражению одного из самых великих ценителей поэзии, перепечатываемому во всех изданиях сочинений Горького, была "штукой" более сильной, чем "Фауст" Гёте"!

*

Коснусь попутно и сложных отношений в семье, в которой пришлось провести столько дней – об этом тоже спрашивали меня неоднократно.

Когда-то один несколько поверхностный французский литератор, возлюбивший русскую литературу, выпустил объобъемистый труд, посвященный судьбам писательских жен, стремясь, при этом, доказать, что писательские браки редко когда бывают благополучны. В своей книге он коснулся биографий Натальи Николаевны Пушкиной, Софьи Андреевны Толстой и Анны Григорьевны Достоевской, поразному драматических. Список этот можно было бы, с одной стороны, оспаривать, с другой, значительно удлиннить, да прибавить еще те случаи, когда вслед за традицией, установленной Сократом, "страдательным" лицом в браке была не жена, а муж. Но спора нет – быть женой

знаменитого писателя или вообще знаменитого человека — роль крайне ответственная, часто неблагодарная, требующая не только любви, но и большого такта и чутья и, главное, уменья оставаться на втором плане так, чтобы это не становилось слишком очевидным.

В этом отношении весьма примечательный пример — Вера Николаевна Бунина, которой, собственно, недоставало всего лишь нескольких коротких лет, чтобы отпраздновать свою "золотую свадьбу", если, конечно, не относиться к этому слишком формально, потому что официально — по чисто бюрократическим причинам — они были повенчаны в парижском Александро-Невском соборе только в начале двадцатых годов.

Смело можно утверждать, что быть женой Ивана Алексеевича, хоть в общем был он человеком уживчивым и только в некоторые моменты становился капризным и своенравным, требовало большой доли самопожертвования, отказа от собственного "я", от того, что принято называть "самолюбием". Но все это в глазах Веры Николаевны в значительной мере компенсировалось тем, что можно было называться "госпожей Буниной". Это всегда ласкало ее слух!

Сильным характером она не обладала, хоть иногда проявляла известное упрямство, но вставать "на дыбы" не умела. Она отнюдь не была "душечкой", но не была и музой Бунина (кажется, ни в одном из своих рассказов он ее так или иначе не изобразил, ни одного стихотворения ей не посвятил). Она готова была мириться со всем, что вставало на ее пути, что осложняло ее жизнь, если только это упрощало жизнь Бунина, при чем делала это почти инстинктивно, так уж повелось...

Рассказывали, что в молодости она была очень схожа с одной из мадонн Филиппино Липпи и мне кажется, что в этом нет преувеличения. Даже когда я с ней познакомился, она еще была очень красивой женщиной и черты былого "мадоннизма" еще проступали сквозь морщины и раннюю седину.

Как бы там ни было, трудно себе представить, чтобы нашлась другая женщина, с которой Бунин мог бы прожить

столько лет, как с Верой Николаевной, которая была бы ему так полезна и незаменима, и едва ли какая-либо другая, что бы не происходило вокруг, продолжала бы проявлять по отношению к нему столько теплоты и заботливости, иной раз "сквозь слезы".

Она была далеко не бесталанной литературно и ее "Беседы с памятью", которые "возвращали ей отъятое судьбой", своего рода дневниковые записи, в большинстве своем неизданные, говорят об этом. В них, не мудрствуя лукаво, она пыталась рассказать различные эпизоды, относящиеся к ее молодсти, обрисовать интеллигентскую "арбатскую" среду, те годы, когда она была еще "курсисткой" (а в начале века это был совершенно обособленный тип молодых женщин), три первых встречи с Буниным. Эти записи останутся довольно ценным материалом для изучения эпохи, тем более ценным, что Вера Николаевна, будучи родной племянницей знаменитого Муромцева, председателя первой Думы, о многом тогда в семейном кругу наслышалась.

А если в своей незаконченной "Жизни Бунина", в которой она остановилась на том периоде, который был ей знаком только по наслышке, только по тому, что он сам мог ей рассказывать (ее книга завершается встречей с Буниным), есть кое-что лишнее и иногда отсутствует существенное или передается в каком-то переломленном свете, то все же книга написана не только "профессионально", но несомненно представляет немалый вклад в "буниниану". Попутно хотелось бы еще отметить подлинный эпистолярный талант Веры Николаевны – письма она любила писать, писала их всегда подробно и даже "вдохновенно" и стоило бы только, например, упомянуть о ее переписке с Мариной Цветаевой, о которой можно, к сожалению, судить только по ответным письмам самой Цветаевой, письма Веры Николаевны к ней, по-видимому, безвозвратно погибли.

Вера Николаевна утверждала, что в драматические периоды ее парижской жизни, когда она стояла на каком-то распутьи, не зная какой избрать выход, потому что ни один из тех, которые могли ей тогда представляться, вну-

тренне ее не удовлетворял, ее спасла "вера". Конечно, это было для нее несомненным облегчением, отчасти возвратом к дням юности, потому что ее отец, будучи сам человеком верующим, не мог не внушать своей дочери религиозных чувств. Но все же, если я осмелился поставить в данном случае слово "вера" в кавычки, то только потому, что мне всегда казалось, что в ее религиозных побуждениях было меньше внутренней одухотворенности, чем внешнего тяготения и церковности. Ее внутренние переживания, поскольку об этом можно хоть как-то судить со стороны, вызванные в каком-то смысле "крушением" нормального жизненного пути женщины определенного возраста, словно удовлетворялись ритуалом. Да, конечно, на ее ночном столике всегда лежало Евангелие и можно с уверенностью сказать, что она не упускала случая, чтобы его открыть или, как она сама о том рассказывала, усердно вчитывалась в книжечку Фомы Кемпийского, пока ее не потеряла и не забыла о ней. Как мне кажется, сама церемония евхаристии была ей созвучнее и нужнее, чем слова Нагорной Проповеди.

В этом меня когда-то убедил маленький, по существу незначительный инцидент. Когда во время грасского "сидения" сестра Степуна вместе со своей Галиной отделились и переселились в Канны, к ним кружным путем пришло из Дрездена (где тогда проживала семья философа Степуна) известие о кончине престарелой степуновской матери. Вера Николаевна, в этот день случайно поехавшая навестить "беглянок", вернулась совсем удрученная, вся в слезах, все приговаривая: "бедная, бедная Марга..." Я стал говорить то, что в таких случаях говорить полагается – что, мол, кончина девяностолетней старухи не могла быть для дочери трагической неожиданностью, что Марга, несомненно, к этому была подготовлена и, наконец, что когда кругом гибнут тысячи и тысячи, смерть одного человека не может восприниматься с такой остротой. "Ах, вы ничего не понимаете, – возразила мне Вера Николаевна, – да вы и судить не можете, Марга не знает точно когда скончалась ее мать и потому не может отслужить панихиду в сороковой день..." Помню, как эти слова меня

ошарашили – я понял, что чего-то в Вере Николаевне не понимал.

А ведь долгое время мы были друзьями – часто беседовали, о многом она мне рассказывала, особенно когда ей было "не в моготу" – не теперь, а еще задолго до того, как я очутился под ее кровом. Будучи в Грассе, она нередко писала мне в Париж, а когда я был в армии, ее письма были особенно сердечными и были всегда как нельзя кстати. Приняла она меня на "Жанетту"(хотя едва ли Иван Алексеевич ее мнением поинтересовался) с той добротой, которая ее отличала – может быть, даже в чем-то чуть наигранной, чуть демонстративной, потому что ей всегда непременно надо было кого-то опекать, кого-то куда-то пристраивать, организовывать кому-то вечер и продавать на него билеты новоявленным меценатам. Это было ее жизнью, а как подобное сорганизовать в Грассе?

Некоторое время на "Жанетте" все между нами шло, как по маслу и жили мы душа в душу, найдя – при нароставших сложностях жизни – какой-то общий "знаменатель". Первая "драма" настигла меня, действительно, вполне непредвиденно.

Как я уже рассказывал, на "Жанетте" во время моего отсутствия неожиданно явился Андре Жид, который пришел разузнать, все ли у Ивана Алексеевича в порядке. Во время этого визита Вера Николаевна обратилась к Жиду с просьбой достать ей наделавший много шума в литературных кругах его "Дневник". Ей почему-то очень хотелось ознакомиться с ним, хотя, собственно, творчество Жида было ей мало знакомо и едва ли она могла с ним "перекликаться".

Затем так случилось, что я, если можно так сказать и не быть обвиненным в нескромности, с Жидом "подружился", мы часто встречались, пока он жил в Грассе, потом я ездил к нему в Ниццу, мы играли в шахматы, беседовали о том и о другом, тем тогда было вдоволь, иногда он читал мне вслух и я никогда не забуду, как он – желая меня просветить и узнав, что я не люблю Гюго – читал его малоизвестные стихи, "именно те, за которые его надо ценить", – добавлял он. У него почти вошло в привычку

как-то незаметно всовывать в карман моего дождевика пачку американских папирос (величайшую редкость!), то дарить одну из своих книг – конечно, в самом обыкновенном издании, а не одну из тех "авторских", напечатанных на какой-то "заморской" бумаге, которые он имел обыкновение надписывать. Их у него под рукой естественно не было. Дошла однажды очередь и до "Дневника", которого я еще не читал и с которым, конечно, жаждал ознакомиться, особенно после встреч с его автором. А как его было в Ницце тогда достать?

Очередной подарок я с гордостью привез в Грасс и показал его Ивану Алексеевичу, который при виде книги буквально затрепетал. "Несчастный, что вы наделали, – чуть не завопил он, – ради Бога, спрячьте книгу подальше и, главное, не показывайте Вере, вы не знаете, что с ней будет..." Я точно с неба свалился. Я ведь не знал, что Жид при первом своем визите на "Жанетту" обещал ей эту книгу и, очевидно, о своем обещании позабыл.

Я упрятал "Дневник" в самый укромный уголок, да еще такой, который запирался на ключ и только ночью вытаскивал его оттуда, соблюдая всяческие предосторожности. Все же моя конспирация не помогла, в какой-то момент Вера Николаевна пронюхала о существовании книги – не поручусь, что не проболтался сам Иван Алексеевич – и ее реакция выходила за пределы того, что только можно было вообразить. Ее отношение ко мне сразу же в корне изменилось, в ее глазах я стал предателем.

Когда я предлагал ей взять "Дневник" для чтения, она с наигранной надменностью, мало ей свойственной, неизменно отвечала, что Жид ее вообще мало интересует. Она даже писала об этом случае одной из своих подружек и та опубликовала отрывки из этих писем в "Литературном наследстве". Впрочем, так как и остальное, что исходило из-под пера этой авторши, весьма мало достоверно, не следует придавать ее сочинительству большого веса.

Кончилось это дело тем, что я при первом подходящем случае взмолился и попросил Жида достать, хоть из-под земли, другой экземпляр "Дневника" и послать его по

почте Вере Николаевне. Он эту мою просьбу выполнил и тогда я, хоть на время, перестал быть в ее глазах Иудой!

Я привел эти два инцидента не потому, что мог придавать им особое значение или что они показались мне — скажем — "своеобразными", особенно в той обстановке, в которой все мы тогда жили, но все-таки довольно характерными и, так сказать, наглядно освещающими личность человека.

Наступило успокоение и в последние годы нашей совместной грасской жизни, как писала сама Вера Николаевна, "атмосфера как будто стала лучше, все как будто серьезнее стали смотреть на жизнь и меньше придавать значения пустякам". Так-то оно так, только то, что одному кажется пустяком, для другого представляется некой абракадаброй. Все же военные события стали приближаться, вернее, переставали быть какой-то абстракцией, а вскоре и "фронт гражданской войны" внутри "Жанетты" как-то переместился и совершенно оттеснил мои личные недоразумения и недомолвки с Верой Николаевной. Задушевных разговоров, правда, больше не было, но мы мирно и в полной гармонии сменяли друг друга на кухне, поочередно спускались в город за покупками, она за тем, что выдавалось по карточкам, я, чтобы что-нибудь раздобыть "по знакомству", проклинали сообща приготовление осточертелой похлебки из кормовой свеклы, но зато наслаждались "спагетти", хоть они и были подобно щедринскому пирогу "с нетом" и сообща благословляли соседа-благодетеля, который изредка "с барских плеч" подбрасывал Ивану Алексеевичу какое-то количество поленьев для растопки плиты.

В Париже уже разговоров с глазу на глаз как будто и не было. Болезнь Бунина, доктора, лекарства, его путешествия в "Русский дом" в нелюбимый им Жуан - лэ - Пен были основной темой, которую мы еще обсуждали да еще Вера Николаевна то и дело негодовала, что Ивану Алексеевичу до зарезу нужен тот или другой том писем Чехова, а его все нет, как нет. Иногда у Буниных, кажется, по четвергам еще сходились гости, кое-как отпраздновали восьмидесятилетие Ивана Алексеевича.

Первое время после смерти Ивана Алексеевича Вера Николаевна подлинно держалась молодцом, писание бунинской биографии точно давало ей силы, которые иссякли едва она закончила первый и единственный том. Так вышло, что в то время я уезжал из Парижа, наезжал редко и на краткие сроки. Конечно, каждый раз заходил на Оффенбахову улицу и поддерживал переписку. Вот только в последний мой приезд в Париж перед ее кончиной я позвонил ей и по ее тону понял, что ей теперь "не до меня". Мне не нужно было допытываться, чтобы угадать, что служило препятствием для нашей встречи. На следующий день я опять покидал Париж и так вышло, что больше ее никогда не видел – было мне когда-то из-за этого очень грустно, но время все исцеляет...



## VI

В бунининиане, с легкой руки Георгия Адамовича, распространились домыслы, будто Иван Алексеевич под конец жизни первым русским поэтом признал Лермонтова. Не говоря о том, что постановка вопроса в таком разрезе напоминает допотопные школьные анкеты из "Задушевного слова" – "кто ваш любимый писатель или любимый герой, кем бы вы хотели стать?", все же мне кажется полезным поставить некоторые точки над "i". Насколько я могу судить по многочисленным бунинским высказываниям, по его пристрастью к цитированию пушкинских строк, по той взволнованности, которая всегда овладевала им, как только упоминалось имя Пушкина, для него подобной дилеммы никогда не существовало.

Пушкин в его глазах был явлением настолько особенным, настолько недосягаемым и грандиозным, что имя его не подлежало обсуждению или каким-либо оценкам. Пушкин для Бунина был "полубогом", вне законов, вне сравнений, вне каких-либо сопоставлений. Все, что Пушкина окружало, что с ним было как-нибудь связано, было для Бунина священно – конечно, не первые его издания или какие - либо библиофильские или коллекционерские ценности, а все, что непосредственно относилось к Пушкину-человеку и не только к поэту.

Но это не мешало ему любить и по - настоящему восторгаться Лермонтовым, как мне вспоминается, прозой больше, чем стихами, выделяя особенно "Тамань". Бунина умилял тот факт, что Лермонтов, как он непочтительно говорил, погиб будучи "молокососом" и он постоянно недоумевал, откуда в таком возрасте у Лермонтова могло быть столько жизненного опыта, такое знание людской природы.

Когда-то Бунин даже задумал написать "романсированную биографию" Лермонтова и стал пристально изучать всю лермонтовскую, кстати сказать, не очень-то обширную, литературу, биографическую и критическую. Делал это с практической целью, хотя в таких делах большой усидчивостью не отличался.

Дошло до того, что о готовящейся Буниным книге было объявлено в печати, но на этом вся затея приостановилась. Нелегко себе представить, чтобы у Бунина нашлось

достаточно терпения, чтобы корпеть над датами, письмами, вариантами и всем тем, что необходимо для написания биографического труда о ком-либо из великих предшественников. "Освобождение Толстого" не в счет, потому что эта книга в некотором аспекте была и освобождением для самого Бунина.

*

Горький и Бунин... Это большая глава в биографии Бунина, которую, что бы он не говорил вслух, он "наедине с собой" никогда не зачеркивал. Но упоминал он о ней только после того, что она стала уже в его глазах "древней историей", когда от былых отношений остался только горький пепел. С Горьким ведь были особые счеты, усложненные тем, что даже в годы их тесной дружбы, Бунин, по его словам, Горького-человека отделял от Горького-писателя, Алексея Максимовича Пешкова от Максима Горького. Чувства эти в Бунине смешались только во вторую половину его жизни, когда одно поглотило другое и ему уже казалось, что и подлинных дружеских отношений никогда между ними не было, был лишь "карточный домик" дружбы.

Недавно в Москве было издано чуть ли не шестисотстраничное исследование некого Нинова, посвященное взаимоотношениям между этими двумя писателями.*) Эта неплохая и обильно документированная книга все же имеет один основной недостаток. От начала до конца Нинов, подхватывая малейшие детали, анализирует отношения между Горьким и Буниным из горьковской "обсерватории" и не дает себе труда подумать о том, что ощущения Бунина, правильные или ошибочные, не совпадают с установками Горького. Воспроизведенные Ниновым нежные надписи на книгах, как Бунина Горькому, так и Горького Бунину, мало что уточняют: надписи на книгах далеко не всегда выражают подлинные чувства, так уж повелось...

Впрочем, Бунин никогда не скрывал, что в молодые годы полюбил Горького, когда их первые встречи происходили под ласковым взглядом Чехова, познакомившего их в

---

*) А. Нинов. – *М. Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы творчества.* Советский писатель. 1973. 566 стр.

своем аутском доме. А немного позже, когда книги Бунина стали издаваться "Знанием", издательством фактически руководимым Горьким, они сблизились еще больше. Бунин стал зимы проводить на Капри, где тогда осел Горький и Бунина, конечно, привлекала туда не только почти бутафорская красота этого острова, его тишина или мягкость его климата (юг всегда Бунина пленял), толкавшие его на плодотворную работу, но, в первую очередь, присутствие где-то рядом Горького. Общение с ним было для Бунина притягательной силой.

По словам Бунина – он о житье на Капри не раз вспоминал – даже в те "идиллические" времена к творчеству Горького он относился довольно критически, а иногда даже с некоторой иронией, потому что ничто его в литературе так не отталкивало, как присутствие фальшивых нот или – это его определение – некая словесная "демагогия". Этого он не в силах был простить. А как мог он воспринимать такое лубочное произведение, как, скажем, нашумевшую "Песнь о соколе"? Даже на старости лет, цитируя ее с горьковским "оканием", он все еще потешался над ее текстом, приговаривая: "Что это за такой уж, который ни за что, ни про что "залез высоко в горы? Ведь это противно ужиной природе! Достаньте только Брема и почитайте его"- и тут же подхихикивал – "недаром слово "ужас" порождено этим горьковским ужом!".

– А прочли вы его "Девушку и смерть? Ведь это надо обладать критическим чутьем Иосифа Виссарионовича, чтобы сравнить эту мелодраматическую штуковину с "Фаустом" и отдать ей предпочтение. А потом в виде высочайшей резолюции воспроизводить эту нелепость во всех изданиях Горького.

Иногда Бунин вспоминал, как я уже упоминал, пресловутое "море смеялось". "Ведь площе и придумать трудно, – говорил он, – а этаких "смеющихся морей" в произведениях Горького насчитаю вам десятки".

Любил он вспоминать и премьеру "Дна" в Художественном театре – шумы, бисы, крики, восторги. "А ведь в пьесе все сплошь надумано и неестественно, нет ни одного живого лица. Один Лука чего стоит. Где Горький мог таких наблюдать? В этом его Луке все насквозь фальшиво".

— А горьковские воспоминания о Толстом. Вы как-то уверяли меня, что эта книженка да еще "Мои университеты" — чуть не лучшее из примерно ста томов, написанных Горьким. Не спорю, эти воспоминания о Толстом написаны хлестко и не без блеска... но ведь почти все в них — сплошная беллетристика и Толстой у Горького не Лев Николаевич, а Лев "Алексеемаксимович"!

Слушая рассказы Ивана Алексеевича о Горьком, даже в военные годы, когда, казалось, повода для них уже не было, я не могу утверждать, что он довольно болезненно переживал то, что считал "падением" Горького, ему было даже стыдно за бывшего друга и отчасти соратника (по "Знанию"). При всем желании он не мог одолеть унылую пустыню "Клима Самгина" /"Легче пешком пересечь Сахару", — приговаривал он/, но дело было не в этом. Бунин признавал, что срывы могут быть у каждого писателя и они в какой-то мере закономерны и "подпадают под амнистию". Но вот некоторые выступления Горького с "трибуны" буквально мутили его и, в частности, он никогда не переставал содрогаться, говоря о поездке "гуманиста" (этот эпитет с легкой руки Ромен Роллана был распространен в западной печати при упоминании имени Горького) на Беломорканал.

Конечно, на Бунина могли оказывать влияние некоторые доходившие до него горьковские отзывы о его творчестве, вроде явно неискренних фраз ad hoc в письме к Федину (в 25-м году, то-есть, в период цветения бунинского таланта) — "Как отвратительно разлагаются люди еще вчера "культурные", Бунин переписывает "Крейцерову сонату" под титулом "Митина любовь"... Слово "культурные" Горький — неужели ради иронии? — заключил в кавычки, которые, может быть, показательнее всего предложения. В них не только просачивается озлобленность по отношению к Бунину, в свое время отказавшемуся от встреч с ним, но и горьковская критическая недальновидность, а в придачу и его двойственность. Ведь, если верить Нинову, а не верить ему нет никаких оснований, "Горький никогда не ставил под сомнение высочайшую талантливость Бунина-писателя". Как же одно совместить с другим?

Мне легко могут возразить, что Бунин не имел возможности ознакомиться с горьковским письмом Федину, так как оно было опубликовано в "Литературном наследстве" только в 1963-м году. Совершенно правильно. Но я цитировал это письмо лишь в качестве примера. Аналогичных суждений "отца соцреализма" можно привести вдосталь.

Вызывал негодование Бунина еще тот факт, что Горький, не спрося его согласия (а как он мог этим согласием заручиться?), опубликовал довольно пространную переписку с ним, точнее, бунинские письма дореволюционной эпохи, в которых, по его утверждениям, он часто бывал неискренним и кривил душой.

В своих "Воспоминаниях" Бунин указывал, что "былые чувства с течением времени перегорели и Горький стал для меня несуществующим". А все же, как бы едко он о Горьком не говорил и не писал, что "Горький вызывает в нем ужас и негодование", можно поручиться, что в глубине души он не переставал испытывать к Горькому какое-то неосознанное чувство жалости, какое можно испытывать к близкому человеку, который сбился с дороги и заблудился и за это пострадал. Что бы их не разделяло, какой-то, пускай самой крошечной крупицы симпатии к бывшему приятелю он никогда окончательно не утратил. Этим и объясняется, что смерть Горького он воспринял не в меру болезненно, особенно в связи с теми упорными слухами, которые она породила и в которые он поверил еще, когда многие считали их невозможной фантастикой.

*

Бунин и Мережковский... Как рассказывал Бунин, Мережковского он в России едва знал. Жили они тогда точно в различных "сферах". Сошлись они только в Париже, когда в первые годы эмиграции ("изгнания", а не "послания", подтрунивая над выспренней фразой Мережковского о том, что "мы не в изгнании, а в послании", неизменно приговаривал Бунин) словно возглавляли русскую литературу за рубежом, в глазах так называемого общественного мнения оба находились на острие зарубежной русской литературной пирамиды.

Помимо того, Мережковские часто приезжали в Грасс и там подолгу жили, и тогда их встречи с Буниным естест-

венно учащались, хотя Иван Алексеевич не раз указывал, что, несмотря на свою хорошую память, никак не может вспомнить, о чем он мог говорить с Мережковским, оставаясь с ним с глазу на глаз. И подлинно – Бунин любил шутку, эпиграмму, порой не прочь был позлословить, Мережковский разгорался только при обсуждении какой-либо метафизической темы, "витал в небесах", а Бунин на абстрактные разговоры не откликался, собственно, не умел их вести. К тому же, Бунин постоянно утверждал, что Мережковский его ненавидит. В данном случае, Бунин подобрал не те слова: просто-напросто им, вероятно, было друг с другом скучно.

На известном отдалении легче понять непреходящее негодование Бунина, до конца его дней часто всплывавшее на поверхность, вызванное настойчивым предложением Мережковского, этого, по слову Розанова, "запойного игрока в символы", подписать соглашение, при том непременно нотариальное, о дележе шкуры неубитого медведя, то-есть, нобелевской премии, ежели паче чаяния она достанется одному из них. Как говаривал Бунин, на поверку обнаружилось, что от "витания в небесах" до приглашения посетить грасского нотариуса только один шаг, такой же в каком-то отношении короткий, как от Капитолия до Тарпейской скалы!

И, вероятно, не зря Бунин любил рассказывать о том, как он, как-то собравшись с духом для того, чтобы "из приличия" одолеть "Тутанкамона на Крите", дошел до того места, когда критские девушки встречают египетского гостя возгласами "Ой ты, гой еси...", не выдержал и отбросил книгу. Без намерения сострить Бунин говорил и о том, что в другой раз на сон грядущий он начал читать трактат Мережковского об апостоле Павле, затем книгу отложил и заснул. А проснувшись захотел продолжать прерванное чтение и не сразу заметил, что апостол неожиданно обратился в Наполеона. Оказалось, что он взял со своего ночного столика другую книгу того же Мережковского, но построение фраз, их ритм, весь словарь были в обеих книгах настолько схожи, что он не обратил внимания на свою оплошность. "А, может быть, я начал с Жанны д'Арк, а к утру она превратилась в Данта", – ехидно добавлял Бунин.

Мережковский для Бунина в каком-то смысле "умер" после того, как он узнал о его выступлении по немецкому радио. Но я ясно помню тот вечер, когда еще не закончив "трапезы", мы сидели все в столовой и уже другое радио передало известие о смерти "известного русского писателя – Мережковского", Бунин заметно опечалился. Взгрустнул, может быть, не только о соратнике и бывшем "сопернике" по получению шведской манны, но и потому, что эта новая смерть могла быть им принята, как некое "memento mori". А когда скончалась Зинаида Гиппиус (это произошло уже после возвращения Буниных из Грасса в Париж), несмотря на настойчивые уговоры Веры Николаевны, Бунин категорически отказался присутствовать на панихиде.

*

Может быть, это нехорошо, но не могу удержаться от искушения и не процитировать замечания Бунина на полях сборничка стихов Зинаиды Гиппиус "Сияния", который стоит теперь на одной из моих книжных полок. Он всегда любил делать замечания на полях прочитанных им книг и они для него крайне характерны, хоть иногда, скажем, "эксцентричны".

Так, некоторые гиппиусовские посвящения Бунин сопроводил восклицательными знаками, но зато ему вполне очевидно пришлась по душе строфа:

*"Таисъ, стыдисъ страданъя твоего.*
*Иди – и проходи спокойно.*
*Ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего*
*Земля и люди недостойны",*

но зато явное возмущение вызвала строка – "пахнет розами и неизбежностью", а рядом с "он плащем закрыл себе лицо" и еще "кто – не знаю, просто, он в плаще" Бунин приписал: "Почему не пальто?" А затем, как бы суммируя свои впечатления от книги две "резолюции": "и все, всюду мошенничество загадочностью, будто бы какими-то великими и высокими тайнами" и наряду с этим – "на старости лет писать такие жульнические глупости!".

*

Бунин и символисты... На эту тему можно было бы написать целый трактат, так как не проходило дня, чтобы Иван Алексеевич – словно по инерции – прямо или косвенно не

обрушился на кого-либо из символистов, преимущественно на представителей младшего их поколения. Иногда это было для эпатирования, иногда – например, в разговоре со мной и это я сразу мог почувствовать (да он этого и не хотел скрывать) – только чтобы подразнить. Больше того, если он долго мимо этой его столь излюбленной темы проходил, то можно было подумать, что с ним что-то неладно, то ли что-то его угнетает, то ли ему нездоровится!

Собственно, он никогда – и в этом он был совершенно честен – не забывал, что его первый (до того были только "пробы пера" с примесью надсоновщины) "настоящий" сборник стихов был издан "Скорпионом", то-есть, появился в самой цитадели российского символизма, что теперь не может не казаться противоестественным. Впрочем, примерно в те же годы он принимал участие и в редактировавшихся не кем-нибудь, а Валерием Брюсовым альманахах "Северные цветы". Не только сам принимал в них участие, но на свое горе заманил в них и Чехова, который, не взлюбив декадентские манеры, писал Бунину : "Дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами", а месяцем позже, прочитав объявление о выходе альманаха, выделявшее для приманки читателя его имя жирным шрифтом, добавлял : "Зачем вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?".

Укоры Чехова, конечно, были для Бунина почти нестерпимы. Но ведь он тогда был из начинающих и не вполне сознавал, что попал не в свою компанию. На первых порах между ним и Брюсовым и Бальмонтом, имя которого уже гремело по всем медвежьим углам России, отношения были, если не дружескими, то вполне корректными. Неприязнь к символистам выкристаллизовалась в Бунине позднее. Его нелюбовь с особой страстностью наблюдалась по отношению к Блоку. Несмотря на свое художественное чутье, он проглядел в Блоке и в его поэзии все, что в ней было подлинно драгоценного и со стоическим упрямством останавливался только на блоковских срывах. Еще во время грасских споров он делал упор на отдельные строки или вытянутые из блоковских дневников отдельные строки или куски

фраз (где-то им записанные!), которые, будучи оторваны от контекста могут, действительно, восприниматься, как своего рода "курьезы".

В спорах о Блоке он не принимал никаких доводов, и чувствуя, что не сумел переубедить своих оппонентов, недовольно крякал – "Ох, уж этот ваш Блок", считая, что этим итоги подведены и дальше спорить не о чем.

Все же нельзя всецело ругать Бунина за эти его "причуды". Надо его понять. Те цитаты, которыми он оперировал в "борьбе" с Блоком, были, надо отдать ему справедливость, весьма показательны. Так, он любил повторять, воспринимая ее буквально, фразу, извлеченную им из блоковских дневников, говорившую о радости, испытанной поэтом при вести о гибели "Титаника". "Есть еще Океан", – замечал Блок. Цитировал Бунин и что-то крайне по-декадентски несуразное вроде того, что "Я (подразумевается сам Блок), хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды в перламутр и аметист метели..." или в посвящении Брюсову – "Кормщику в темном плаще, путеводной зеленой Звезде". "Вот вам и кормщик с Цветного бульвара", – хохотал Бунин.

Конечно, такого рода фраз можно было при желании подобрать у Блока немало, но Ахилессова пята бунинской критики заключалась в том, что он задерживался на декадентских вычурностях, не делая поправки на эпоху, выделяя и подчеркивая слабые стороны блоковских писаний и не желая признать все то подлинное, что вышло из-под пера поэта.

Бунин утверждал, что частушечный лад "Двенадцати" – грубая подделка, вызванная желанием подладиться под непритязательного читателя.

Все же, как-то, уже незадолго до смерти Ивана Алексеевича, перелистывая том прозы Блока, я напал на статью, посвященную стихотворениям Бунина. Я принес ему этот том и, в частности, прочитал ему вслух, что в 1907-м году Блок писал: "Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения "Листопад" признать его право на одно из главных

мест среди современной русской поэзии". Бунин совершенно позабыл о существовании этой длинной, посвященной ему статьи и по началу как-то смягчился, но потом огрызнулся – "Вы хотите, чтобы я переменил свои убеждения, потому что Блок наделил меня комплиментами, хотя в них, если вдуматься, целая куча всяческих "но" – нет, нет и нет, ваш Блок – дутый пузырь!.."

А насмешками над Андреем Белым, которого он – думается мне – никогда не имел терпения дочитать до конца, подлинно конца-краю не было. По адресу Белого он совершенно "распоясывался", возможно, мне назло, зная, как я Белого ценю. Он вдруг начинал, вспоминая Белого, истошным голосом вопить: "Этот полубес, полушут", добавляя что-то нецензурное и уверяя, что "Белый – самая позорная фигура в Москве начала века". Затем, в виде десерта стараясь подражать Белому, он делал – надо признаться, весьма схоже – какие-то курбеты и приплясывания, завершая свою филиппику признанием, что как-никак обаяние у Белого было большое.

Вспоминая теперь все бунинские анти-символистские выпады, думается, ему можно их простить. Это была психологически объяснимая и в общем совершенно безобидная слабость. К тому же ларчик открывался очень просто. Блок был "властителем дум" нескольких поколений. Бунин, несмотря на свою известность, никогда таковым не был и не мог им стать, как бы не повернулась русская история. Этому препятствовал не только его характер, но и диалектика его творчества. Он это, конечно, сознавал, был в достаточной мере проницателен и это раздражало его, вызывая тем самым им, вероятно, до конца неосознанные, нехорошие чувства.

Было и еще что-то другое. Бунин, я уже это отмечал, потому что этого он скрыть не мог, неизменно хотел, чтобы его в первую очередь считали поэтом, а как раз его поэзию как бы не признавали или признавали с оговорками, во всяком случае, не так, как он того хотел. Часто проходили мимо нее или, в крайнем случае, ставили не на тот уровень, на котором "котировалась" его проза. Не этим ли объясняется, что он любил издавать свои рассказы в одном

томе со стихами? Во всяком случае, отношение критики и читающей публики к его поэзии его и раздражало, и обижало, и огорчало, и укрепляло его нелюбовь не только к Блоку или Белому, но и полное равнодушие к стихам Ахматовой, отталкивание от Цветаевой, отсутствие интереса к Мандельштаму и Пастернаку. Впрочем, Пастернак Бунину "отомстил", сообщая Горькому, что "Митина любовь" "оставила в нем отзвук пустоты" и что он простил бы Бунину "сколь угодно чуждый комментарий, объяснимый биографически, но ждал, что разверзнутся небеса и устами писателя заговорит онтология средневековья". А на поверку "онтология не заговорила"!

Что это? Говоря, конечно, не о процитированной "пастернаковщине", а об отношении Бунина к современной ему поэзии, к умышленному – иначе и быть не может – ее непониманию. У французов есть выражение "jalousie du métier". В не вполне точном переводе это означает "профессиональная зависть". Но что это – элементарное и низменное чувство? Может быть. Человечное? Несомненно. Ведь и у больших людей бывают маленькие слабости.

*

Несколько строк об Алексее Толстом, которого Бунин постоянно честил всевозможными малоизысканными именами и иначе как Алешкой не называл, но к которому все же относился с скрытой нежностью. Ценил его не только, как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал его проделки и измышления. "Что с Алешки взять", – неоднократно говорил Бунин, рассказывая о Толстом всякого рода анекдоты, вроде того, как в первые годы эмиграции, когда еще думали, что вот-вот большевизму наступит конец, он продавал свое несуществующее "родовое имение", даже заранее не придумав, где оно находится! Впрочем, многие из рассказов бунинского репертуара, посвященного автору "Сорочьих сказок", первой, еще незрелой книге молодого автора, которую Бунин принял в редактируемый им журнал, передать невозможно. Они не для печати!

Что-то в Толстом импонировало Бунину и, хотя их пути давно разошлись, он всегда в мыслях продолжал его видеть молодым, задорным, в енотовой шубе, с цилиндром на голове.

Бунин не очень-то оценил "Хождение по мукам", чертыхался по поводу последней части этой тетралогии ("Хлеб"), но зато "Петром Первым" восторгался неподдельно. "До чего хорошо", – говаривал он с некоторым удивлением, – "ведь сколько документов пришлось изучить, сколько архивов перерыть".

А затем так привелось, что незадолго до начала войны два бывших приятеля невзначай столкнулись в одном из больших парижских кафэ. Они дружески расцеловались и осушили по бокалу шампанского. Впрочем, их общение дальше этого фужера не пошло и эта встреча не помешала Толстому рассказывать какому-то интервьюеру, что "Бунин ходит совсем зеленый от злости" и что прочтя два томика бунинских рассказов и "Жизнь Арсеньева", он наглядно увидал, что Бунин "опустошен и его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет кроме сожалений о прошлом и мизантропии". Казалось бы, на этом их отношения должны были закончиться.

Однако, в дальнейшем возникает некая загадка. В бунинском двухтомнике "Литературного наследства", наиболее авторитетном из советских литературоведческих изданий, биограф Толстого, Крестинский, рассказывает, что якобы в июне 1941-го года, буквально у самого порога гитлеровского нашествия, Толстой получил от Бунина открытку. Следует отметить, что эта открытка с момента отъезда Толстого из Парижа, то-есть, примерно за двадцать лет была единственным эпистолярным обращением "зеленого от злости" Бунина к Толстому.

В открытке Бунин, мол, "жаловался на трудные условия своей жизни". Это, конечно, вполне правдоподобно: условия жизни в Грассе были подлинно нелегкими, а на жалобы Бунин редко когда скупился. Но далее, как указывает Крестинский, Бунин, не говоря о своем желании вернуться на родину прямо и во весь рост, будто сделал это в завуалированной, но столь очевидной форме, что Толстой тут же засел за писание письма "дорогому Иосифу Виссарионовичу", запрашивая его "может ли он подать Бунину надежду на возвращение". Крестинский добавляет, что сохранилось три черновика послания Толстого, так как он, вопреки своей привычке, тщательно его отшлифовывал, взвешивал каждое слово и колебался, какую форму обращения принять и как послание закончить.

Дальше Крестинский сообщает, что "к великому сожалению этот интереснейший для биографии Бунина документ (то-есть, открытка, адресованная Толстому) затерялся"... Эта потеря, согласимся с Крестинским, тем более досадна, что она дала бы ответ на то, что мне представляется неким "недоразумением".

Ведь я в те дни буквально ежечасно общался с Буниным, подолгу с ним беседовал и он нередко говорил со мной на довольно сокровенные темы, которых я и сейчас считаю себя не вправе касаться. Но ни разу за эти жуткие годы (как и после того, как они миновали) я не слышал от него хотя бы отдаленного намека на желание перекочевать в Советский Союз. Не слыхал я от него и о том, что он с чем-то обращался к Толстому, хотя в то время выполнял при нем обязанности "почтмейстера". Сам он никогда на почту не спускался, а каждое свое письмо считал экстренным и непременно отправлял его "экспрессом". "Это более убедительно для получателя", говорил он.

Бывали, конечно, дни, когда Бунин носился с мыслью покинуть "осточертевший" Грасс. Одно время он почему-то стал подумывать о Португалии, вообразив, что это страна с "кисельными берегами", в которую можно добраться на ковре-самолете. Затем он стал поговаривать о переезде за Океан. К примеру, вот запись, сделанная мной в том же 41-м году: "Вчера Иван Алексеевич поднялся ко мне, когда я уже лежал. Он сел около постели и с большой энергией и упорством стал уговаривать меня ехать в Америку, предлагая "по-настоящему" стать его секретарем и там как-нибудь сообща выкарабкиваться".

Была ли тогда выполнима его идея трудно сказать, но она не получила дальнейшего развития не столько из-за самой сложности такого предприятия, из-за связанной с путешествием устрашавшей его бюрократической волокиты, сколько из-за решительного сопротивления Веры Николаевны, вызванного сугубо личными причинами.

Как мне представляется, недоразумение почти аналогичного рода кроется и в истолковании одной бунинской фразы в письме к его давнему другу, писателю Телешову. Эта фраза, точнее пост-скриптум, которая уже не раз цитиро-

валась и так и сяк комментировалась, звучит: "Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой..."

Это "очень хочу домой", став известным, чуть ли не вызвало "бурю в стакане воды". Но как следует толковать эту приписку? Буквально? А как же иначе, как по-другому, будут мне возражать.

Был скучный майский день, дождь не переставал моросить, все кругом точно застыло на мертвой точке, а войне конца-краю не виделось. Нависали материальные заботы, которые Бунин всегда был склонен преувеличивать, надоела ненасыщающая однообразная еда, но еще больше надоели все те же физиономии, которые мелькали перед ним и естественно наскучили. Бунин вспомнил свое недавнее житье-бытье, невесть какое, но хотя бы там собеседники чередовались, а по вечерам можно было пойти в кафэ или еще куда. Ему вдруг захотелось вернуться в свою насиженную, хоть и не очень уютную квартиру, которая была именно его "домом" – другого ведь у него никогда и не было. В эту минуту он забывал, что Париж не привычный ему город, что и там не будет у него желанного спокойствия. Зная его, трудно, почти невозможно предположить, что он мог даже подумать о возвращении в страну, в город, на какой-то Арбат, ставшие для него совершенно чужими и чуждыми и где он никак не мог бы чувствовать себя "дома".

И именно с Телешовым, с его старым "Митричем" ему захотелось, пока не поздно, поделиться с разъедавшей его в этот ненастный день горечью. К Телешову-далекому другу он всегда сохранял теплые и братские чувства, хотя – он об этом говорил – был отчасти уязвлен, как мало места этот друг уделяет ему в своих "Записках", посвященных предреволюционной литературной Москве и пресловутым "средам", происходившим в телешовском доме. Бунин закрывал глаза на то, что такое умолчание было лишь невольной "данью времени". На имени, на лишней цитате можно было поскользнуться...

А ведь в письме к Телешову было еще больше показательно, чем полуабстрактное "хочу домой", из-за которого было сломано столько копий, умышленное подчеркивание слов "я еще ядовит". Если только хорошенько вдуматься,

станет ясно, что одно противопоставлялось другому. Если раскрыть скобки и под "хочу домой" непременно подразумевать "домой в Москву", почти парафразу из "Трех сестер", то это восклицание никак не вяжется с "я еще ядовит". Говорится, что "Москва слезам не верит" и это, конечно, правда, но еще меньше тогдашняя Москва была способна дать приют и уготовить тихую пристань "ядовитому человеку". Бунин это отлично знал и не мог с этим не считаться, даже в минуты какой-то депрессии.

Впрочем, это не единственный случай, когда из-за его необдуманных слов к нему пристегивали всевозможные, совершенно нелепые политические ярлыки.

*

Вслед за этими заметками, собранными мной вразброд и записанными на протяжении довольно продолжительного отрезка времени, я хочу вернуться на "Жаннетту" и сказать несколько слов о днях, предшествовавших высадке союзных армий на средиземноморском побережьи Франции и затем вкратце описать предзакатную жизнь Бунина в Париже после Освобождения.

*

Говорится, что "худой мир лучше доброй ссоры". Этот "худой мир" и был установлен и казалось бы жизнь "Жаннетты" пошла без бурных инцидентов, обе стороны себя сдерживали, тем более, что Иван Алексеевич был незлопамятен. Общее внимание было сосредоточено на событиях, развертывающихся на русском фронте. Бунин привез из Ниццы огромные карты пограничных областей Советского Союза, начал было отмечать булавками ход военных действий, но его "штабная" деятельность продолжалась недолго. Когда гитлеровские армии проникли вглубь страны, он заявил, что ему не под силу передвигать тесемку, отмечавшую линию фронта и он не может доверять германским сводкам, так как и мест, которые в них упоминаются, нет на его картах. "А к тому же лучше карты со стены снять, неровен час, заглянут сюда какие-нибудь мордастые оккупанты и по голове за эти карты едва ли погладят".

Он был особенно мрачен, когда в сводках стали появляться знакомые ему названия – Елец, Орел, Тула. Но в

настоящий раж он был приведен, когда у небольшого лесочка, к которому примыкал сад "Жаннетты" и куда можно было пройти через полускрытую, едва заметную калитку (до того мы считали, что в случае чего через нее можно улизнуть!) появилась доска с изображением черепа и с надписью – "Осторожно – лес минирован". "Нет, они потеряли голову, – негодовал Иван Алексеевич, – минировать *наш* лес, ведь это патология!"

Так шло – почти без перебоев – медленно, угрюмо и, главное, однообразно. В Ниццу или в Канны Иван Алексеевич ездить перестал, все его знакомые куда-то оттуда поисчезали и дела у него там больше не было никакого. Но вот в одно прекрасное воскресное утро (это было в августе 44-го года) щемяще завыли сирены. Собственно, в самом этом факте не было ничего необычного. Воздушные тревоги уже не раз раздавались и в небесной сини Прованса иной раз можно было приметить черную точку летевшего бомбардировщика. Однако, как правило, отбой никогда не заставлял себя долго ждать.

На сей раз, однако, что-то происходило "не по правилам". Проходил час, другой, третий, а отбоя не было и из-за этого "неуместного" внешнего спокойствия волнение Бунина не переставало нарастать. То, накинув свой потрепанный халатик, он отправился в сад, чтобы "отсидеться" в облюбованной им для подобных случаев будке, в которую "негодяй-садовник" складывал свои инструменты. Эта будка, крытая соломенным навесом, вплотную прилепилась к скале, была малоприметна и потому Бунин считал ее верным убежищем от бомб, неким "бункером". То он снова поднимался к себе, может быть он что-то увидит через окно, то опять сбегал в столовую, стараясь разузнать по радио что, собственно, приключилось.

Но радио вдруг онемело и только после полудня как-то случайно удалось выяснить, что воздушная тревога была вызвана высадкой союзного десанта на средиземноморском побережьи, где-то в районе Фрежюса, примерно на расстоянии какой-нибудь сотни километров.

Несколько дней прошло в нервирующем ожидании, усугубляемом отсутствием информации и наполненном са-

мыми противоречивыми слухами. Иногда со стороны Эстерели слышался артиллерийский гул, раз-другой дымки появлялись над островками, лежащими около Канн, но всего этого было Бунину недостаточно. Он готов был отчаиваться из-за той медлительности, с которой — по его мнению — развертывались военные операции. "Вы видите, надеяться не на что, все погибло", —неистовствовал он, когда наступало долгое затишье.

А то радостное событие, которого все мы ждали более четырех лет, наступило на рассвете 24-го августа. Немцы из Грасса ретировались без боя, мы могли видеть, как последние их части спускались мимо виллы по Наполеоновой дороге и в полном беспорядке. И через несколько часов первыми вступили отряды канадских военно-воздушных сил, высадившиеся на планёрах вблизи пляжей.

"Что было у нас на душе — описать невозможно", — писал затем Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, он не узнал обычной грасской толпы. "От радости словно все лица преобразились, — говорил он, — точно все вдруг похорошели!" и затем был совершенно ошарашен тем, что, зайдя в один из кабачков и заказав, "чтобы отпраздновать освобождение", двойную рюмку коньяку, хозяин провозгласил, что "сегодня все даром" и достал заветную бутылку с каким-то большим количеством звездочек. "Такого еще не было во всей истории Франции", — говорил он, вернувшись домой рассказывая о виденном со слезинкой в глазах.

Вскоре, едва только мне представилась какая-то возможность (железнодорожное сообщение вдоль побережья было восстановлено позднее, так как большинство мостов было взорвано), я сложным окружным путем как-то добрался до Парижа.

Бунины еще некоторое время вынуждены были оставаться в Грассе, потому что их парижская квартира была еще "оккупирована". На время их отсутствия она была сдана какой-то русской семье с условием, что жильцы освободят ее по первому требованию, но не тут-то было — они отказывались съезжать и для их изгнания и водворения хозяев пришлось применить угрозы и чуть не шантажировать их.

"В Париж, очевидно, ехать нельзя еще долго, я в отчаянии и взбешен", – писал мне нетерпеливый Иван Алексеевич, а чуть позже "Всем пишу, чтобы выжили этих негодяев, которые не хотят съезжать. А меж тем мне может быть придется вдруг сорваться в Париж из-за моей печени".

Он не переставал жаловаться на всяческие недомогания, но, мне кажется, что главное было в том, что почти сразу после моего отъезда из Грасса атмосфера на "Жаннетте" сильно сгустилась.

Чтобы лучше осветить создавшееся там положение, я лучше всего приведу здесь полный текст одного из бунинских писем от 25-января 45-го года:

*"Дорогой Захар,* (он иногда так называл меня в письмах, самого себя именуя Обломовым), *уже давно, давно получено ваше письмо, уж не помню от которого числа. С тех пор вы опять точно сквозь землю провалились. Не ответил вам сразу и не отвечал и потом, ибо я совсем никуда уже месяца полтора: все болевая точка где-то справа – не то в печени, не то ниже, и слабость, и что-то противное во вкусе (м.б., от мерзкой пищи – у нас еще никогда, кажется, не было так скверно в отношении еды). Январь лютый – холод, снег. С 29-го декабря обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Ник., Зурова вижу раз в неделю, случайно встретясь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем во веки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей вашей (наверху)– выскакивает, как бешеная собака: "Где мой хворост?" –"Не знаю" – "Вы сейчас взяли и заперли на замок!" – "Не брал" –"Нет, взяли!" – "Что ж мне божиться, что-ли?" – "А что вам стоит побожиться! Вы же нахал!"– "Вы с ума сошли?" – "Вы жук, вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого только учились! У Чехова, у Толстого!" Я остался на этот раз совершенно спокоен, – даже отпер комнату и показал ее, – хворост был не его, но уж довольно с меня наконец! Точка! Вот и все новости. Был у Коломбана* (нашего общего доктора), *он меня осматри-*

*вал, сказал, что надо съездить в Ниццу, сделать радиографию. Но денег у меня нет – целую.*

*Ваш Илья Ильич Обломов".**)

По дальнейшим письмам могу только судить, что в излюбленном им Грассе ему стало неуютно и он стал чувствовать себя там "не в своей тарелке", да могло ли быть иначе, если инциденты подобные описанному могли происходить в его собственном доме и не было больше рядом с ним того подобия громоотвода, которое представляло мое присутствие.

Но прошла и эта полоса его жизни. К маю того же года Бунины – втроем – благополучно вернулись к своим парижским пенатам, но и здесь на первых порах Бунину было не по душе. Оккупация не прошла даром и вся привычная ситуация изменилась, а он был слишком прямолинеен, чтобы разбираться в оттенках – поведению некоторых из своих бывших друзей в "черные дни", хоть они были, действительно, наперечет, он не хотел верить, на многое не мог решиться.

Первые годы по возвращении в Париж Бунин еще любил хорошо покушать, хотя, несмотря на пережитое, был еще довольно привередлив в пище, с бодрым видом расхаживал по гостям, посещал старых коллег по перу, Тэффи, Ремизова, других, у которых до войны никогда не бывал. Был и на моей новой квартире и принес мне известную фотографию, на которой он снят рядом с Чеховым в Аутке, надписав на ней "это вам на новоселье". Она и сегодня висит у меня на стенке.

Тогда же у него завязались формальные связи с некоторыми французскими литераторами русского происхождения – с Труайя, который еще не был тогда так прославлен, и был редактором какого-то недолговечного еженедельника, в котором напечатал воспоминания Бунина о Шаляпине. Однажды я привел к нему другого будущего академика, Жозефа Кесселя, с которым мы где-то по-лукулловски

---

*) Я полностью сохранил бунинские знаки препинания, изменив только орфографию (он писал по старой) и "вы, вас" – у него всегда с заглавной буквы.

позавтракали (это была еще эпоха продовольственных карточек); в другой раз я водил Ивана Алексеевича к Эльзе Триоле, с которой после долгого промежутка возобновил знакомство. Она была среди первых парижан, успевших побывать в послевоенной Москве и ее впечатления были Бунину особенно интересны. Рассказ ее был трезв и во многом тёрпок. Эльза в интимной обстановке гнушалась пропагандных шаблонов и в каком-то смысле приближала своих собеседников к далеко нерадужной действительности, которая из "прекрасного далёка" могла еще представляться в более розовом свете.

Но надо сказать, что по приезде в Париж Бунин все больше чувствовал себя "отвратительным больным стариком". Здоровье его не переставало ухудшаться и малейшая простуда, а ей он был постоянно подвержен, затягивалась на долгие недели и всякий раз грозила серьезными осложнениями. Кроме того, оказалось, что без хирургического вмешательства нельзя было освободить его от некоторых мучавших его недомоганий. Операция была проведена парижскими медицинскими светилами, считалась на редкость удавшейся, но сил Бунина восстановить не могла.

Дважды за это время он ездил для поправки на Лазурный берег и каждый раз при его проводах, когда его до вагона довозили в медицинском кресле, у провожавших невольно создавалось впечатление, что прощание с ним было окончательным.

На юге он останавливался в "Русском доме", откуда писал – я цитирую его письмо: *"Улучшения в моем здоровьи пока не вижу. Вид у меня, говорят, стал лучше, да мало ли что говорят! Мучат меня по-прежнему ночные кашли, слабость физическая и умственная ужасная. Пока сижу безвыходно у себя. Часто бывает Алданов, балует меня хорошим вином – каждый раз привозит бутылочку..."*

Но в общем, несмотря на отличный уход, ему было там, в этом "Доме" неуютно, подходящей компании, с кем "душу отвести" не было и это его, естественно, угнетало. В Париже он мечтал о юге, о солнце – на юге он прятался от солнца и мечтал о Париже.

Выход двух его книг был одной из его последних литературных радостей, даже если реакция на них не соответствовала той, на которую он вправе был расчитывать. Сперва появились "Темные аллеи", из-за орфографии которых Бунину безуспешно пришлось воевать с издателем, но тот настоял на своем: книга вышла по новой орфографии, зато по старой появились "Воспоминания".

В 50-м году русский Париж – или все-таки лучше сказать – некоторая его часть, да и в ней ряды значительно поредели – решила отпраздновать восьмидесятилетие со дня его рождения и дата предстоящего торжества стала как-то сама собой передаваться из уст в уста. Хотя это празднование и вышло в общем довольно скромным, не в пример тем помпёзным банкетам, которые с речами и приветствиями со всех концов мира устраивались перед войной (нередко при помощи самих юбиляров или их жен!) оно все-таки доставило большое удовольствие больному писателю.

Немного приодевшись, Бунин точно "восседал" в своем кресле, ласково принимая поздравителей, наполнявших его квартиру. Впрочем, для того, чтобы ее "до отказа" наполнить, много ли надо было посетителей?

Тогда же в ознаменование этого торжественного дня группа друзей Бунина – если память мне не изменяет, по инициативе Маклакова – решила поднести ему подарок. Да не покажется странным, но по настойчиво высказанному им самим пожеланию, решено было собрать деньги для установки в его квартире телефона. Дело в том, что в те дни в Париже было это предприятием нешуточным. Трудность заключалась не столько в стоимости новой установки, сколько в том, что из-за нехватки аппаратов и свободных линий новым кандидатам в абоненты приходилось ждать чуть ли не годами. Все же – я хочу похвастать – мне каким-то образом удалось убедить администрацию бунинского сектора и телефон у него был установлен вне очереди. Да, он был поставлен в рекордно краткий срок, но едва ли сам Иван Алексеевич им хоть единый раз воспользовался. При его жизни телефон служил, главным образом, для вызова докторов и сиделок.

7-го ноября 1953-го года был последним днем в жизни Бунина и так случилось, что вторую половину этого дня, почти всю я провел с ним с глазу на глаз. Накануне мне позвонила Вера Николаевна, которой нужно было спешно отлучиться, проведать Зурова, он был болен и находился в одной из пригородных клиник. Она попросила меня посидеть, вернее, подежурить у постели Ивана Алексеевича, так как с некоторых пор побаивалась оставлять его одного, даже на короткий срок. Кажется, его самого уже страшило одиночество.

Когда я пришел, шторы в его комнате были спущены и в ней царил полумрак. От массы лекарственных скляночек и коробочек, нагромоздившихся на его ночном столике, как мне почудилось, шел дурманящий больничный запах. Он лежал, полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видел, еще более подавленный, еще более измученный. Его красивое лицо, еще совсем недавно напоминавшее лицо римского патриция, сильно заросло щетиной и было пепельного цвета.

При моем появлении он приоткрыл веки, поворочался, хотя было заметно, что малейшее движение стоит ему больших усилий, откашлялся и затем сразу же – с нараставшей постепенно взволнованностью – стал говорить о бессмысленности смерти, о том, что он не может ни уразуметь, ни принять, как это может статься, что вот был человек и вот его больше не стало. Где граница между этими двумя состояниями? Кто ее определяет? Все он мог, по его словам, вообразить, все понять, все почувствовать, даже все оправдать, кроме одного – "несуществования".

Вероятно, как и в случае с толстовским Иваном Ильичем, известный силлогизм – "Кай – человек, люди смертны, следовательно Кай смертен" – казался Ивану Алексеевичу вполне естественным и логичным, пока дело касалось "какого-то" Кая, но никак неприменимом к себе самому, потому что тогда силлогизм становился неприемлемым его разуму, в нем отсутствовала какая-то ступень.

Однако, эти мрачные высказывания и желание словами

как бы зачеркнуть незачеркиваемое не были способны меня удивить, О смерти он говорил при мне много, много раз, еще задолго до того, как почувствовал, что она стучится в его двери.

Несмотря на то, что вослед Толстому он любил цитировать крылатую фразу Марка Аврелия о том, что "высшее наше назначение – готовиться к смерти", он явно был к ней неподготовлен. Я вспомнил, при этом, один обеденный "обмен мнений", происходивший еще в Грассе, когда Бунин категорически отрицал возможность загробной жизни, утверждая, что противоречило бы высшей логике, если бы после "минутного" пребывания на этой планете (иногда по отношению к этой планете он применял эпитет "мерзкая", иногда "прекрасная") предстояли мириады, зоны лет какого-то непонятного, нерасшифруемого существования, поскольку ничего не было до рождения. Раз есть начало, значит должен быть и конец, – говорил он, споря с Верой Николаевной, которую его "неверие" бросало то в жар, то в холод.

Я присел около его постели. На его измятой простыне лежал растрепанный томик Толстого и когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, чуть приободрился и ответил, что хотел бы еще раз перечитать "Воскресенье", но тут же добавил, что читать ему уже трудно, еще труднее сосредоточиться, когда ему читают вслух, и особенно тяжело держать книгу в руках.

А потом почти вскипел и в тот момент меня особенно поразило, что в его вскрике еще ощущались гневные интонации:

– Ах, какой во всех отношениях замечательный был человек, какой писатель... Но только до сей минуты не могу понять, для чего ему понадобилось включить в "Воскресенье" такие ненужные, такие нехудожественные страницы...

Он, конечно, имел в виду описание службы в тюремной церкви и совершение таинства евхаристии, которое Толстой отрицал.

Эти последние слова Бунин произнес уже почти с запальчивостью, но вместе с тем, с каким-то глубоким вну-

тренним страданием. Не знаю, соответствует ли моя догадка истине, но в тот момент было мне совершенно очевидно, что в чем-то упрекать Толстого, порицать его – причиняло ему физическую боль. Те мысли, которые возникали у него, он считал своего рода кощунством, но теперь ему казалось не только возможным, но даже необходимым как-то поднять голос, хотя бы совсем слабый голос против толстовского кощунства, против толстовского отношения к причастию, при работе над его последним большим романом.

У меня создалось в те минуты впечатление, что над этими толстовскими страницами Бунин долго размышлял и сердился одновременно на себя и, может быть, в первый раз за всю жизнь – на Толстого; на себя из-за того, что не мог подыскать надлежащего оправдания для толстовского злого и, как он его в те часы воспринимал, неуместного сарказма; на Толстого, потому что только к самому концу своей долгой жизни он нашел в нем какой-то штрих, какую-то дотоле ускользавшую от него подробность, которая – хоть он совершенно не был "церковником" – была ему органически враждебна, вызывала в нем отталкивание и потому невольно снижала тот идеальный облик, с которым он чуть ли не с детства сжился.

Мне приходится еще раз подчеркнуть, что в глазах Бунина Толстой был не только одним из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете – он был "божеством". А можно ли, допустимо ли в отношении божества высказывать какой-либо упрек, какое-либо порицание? А тут – я не могу категорически утверждать, но мне представляется – ослабевший телом и духом Иван Алексеевич неожиданно для себя натолкнулся на страницы, которые окончательно нарушили его душевный покой и мимо которых он не мог пройти в молчании – натолкнулся, как я думаю, впервые, потому что вполне возможно, что до того ему не попадался экземпляр "Воскресения", с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.

Последовавшая внутренняя борьба и физическое усилие необходимое, чтобы высказаться, не только взволновали его, но и утомили. Он снова закрыл глаза, повернулся

к стене и попросил меня на некоторое время оставить его одного – "авось я сумею заснуть", – прошептал он.

Я вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми и я слышал, как он продолжал ворочаться и что - то вполголоса бормотать. Как мне послышалось, он повторял по несколько раз те же два-три слова: "Как он мог, как он мог?"

И, может быть, в эту минуту, одну из последних своих минут, он под влиянием прочитанного припомнил встречу с Толстым, как в черную мартовскую ночь они шли вдвоем по Девичью полю и как Толстой, переживавший тогда одну из самых горьких и болезненных своих утрат – смерть любимого семилетнего сына, Ванички – резко и отрывисто твердил: "Смерти нет, смерти нет". Все это Бунин давным-давно описал в своей книге, посвященной Толстому, но вот теперь, когда какие-то толстовские строки вызывали у него отталкивание, он вопреки своей воле, даже, вероятно, нехотя, брал под сомнение запавшие в душу толстовские слова, которые пронес сквозь всю свою жизнь, и за которые именно в эти минуты ему больше всего хотелось зацепиться.

"Как он мог?" – это доносившееся из соседней комнаты трагическое в своем однословии и полное глубокого смысла восклицание оказалось последним, слышанным мной из уст Бунина. Вскоре он заснул и я покинул его, зная, что Вера Николаевна должна вернуться с минуты на минуту.

А на следующее утро, чуть ли не на рассвете, она позвонила мне по телефону и с рыданиями в голосе сообщила, что "Ивана Алексеевича больше нет".

И когда я тотчас же пришел в знакомую, но сразу же опустевшую, точно оголившуюся, комнату, Иван Алексеевич или, точнее, то, что было Иваном Алексеевичем, лежал уже в столовой на кушетке, с головой, закутанной в толстую белую простыню. Недаром в своем завещании он строго-настрого потребовал, чтобы лицо его было сразу же закрыто. "Никто не должен видеть моего смертного безобразия", – писал он, запретив фотографировать его посмертно или снимать с его лица или рук какие-либо маски. Он непременно хотел, чтобы его уложили в цинковый гроб и поставили в склеп.

Через несколько дней при огромном стечении народа его хоронили на пригородном русском кладбище в Сент-Женевьев-дю-Буа.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## 1. ИНТЕРВЬЮ С И.А. БУНИНЫМ

А в заключение, в порядке курьеза, два бунинских текста, приготовленные им в связи с его литературными вечерами. Чтобы не заставлять меня сочинять для этих вечеров "рекламу", он сам написал их и каждый раз, как я приходил поговорить с ним о предстоящей программе, текст уже был готов и мне приходилось добавить к нему только одну-две пояснительных фразы. У меня случайно сохранился автограф одного из этих текстов и исправленная им машинопись второго.

### У И.А. БУНИНА

Мы застали И.А. в его кабинете за письменным столом, в халате, в очках, с пером в руке...

– Bonjour, maitre! Маленькое интервью... в связи с вашим вечером 26 октября... Но, мы, кажется, помешали, – вы пишете? Простите, пожалуйста...

И.А. притворяется сердитым:

– Метр, метр! Сам Анатоль Франс сердился на это слово: "Maitre de quoi?" И когда меня называют метром, мне хочется сказать плохой каламбур: "Я уже так стар и будто бы знаменит, что пора называть меня "километром". Но к делу. О чем вы хотите беседовать со мной?

– Прежде всего о том, как вы поживаете, как ваше здоровье, чем порадуете нас на вечере, что сейчас пишете?..

– Как поживаю! Горе только рака красит, говорит пословица. Знаете ли вы чьи-то чудные стихи?

*Какое самообладание*
*У лошадей простого звания,*
*Не обращающих внимания*
*На трудности существования!*

Но где же мне взять самообладания? Я лошадь не совсем простого звания, а главное, довольно старая и потому трудности существования, которых, как вы знаете, у многих не мало, а у меня особенно, переношу с некоторым отвращением и даже обидой: по моим летам и по тому, сколько я пахал на литературной "ниве", мог бы жить немного лучше. И уже давно не пишу ничего, кроме просьб

господину сборщику налогов о рассрочке их для меня. Я и прежде почти ничего не писал в Париже, уезжал для этого на юг, а теперь куда и на какие средства поедешь? Вот и сижу в этой квартирке, в тесноте и уже если не в холоде, так в довольно неприятной прохладе.

– А можно узнать, что именно вы будете читать на своем вечере?

– Точно никогда не знаю чуть ли не до последней минуты. Выбор чтения на эстраде – дело трудное. Читая с эстрады даже что-нибудь прекрасное, но не "ударное", знаешь, что через четверть часа тебя уже не слушают, начинают думать о чем-нибудь своем, смотреть на твои ботинки под столом... Это не музыка, хотя был у меня однажды интересный разговор на эту тему с Рахманиновым: Я ему: "Вам хорошо – музыка даже на собак действует!" А он мне в ответ: "Да, Ванюша, больше всего на собак!" Так вот все колеблешься: что читать, чтобы не думали о своем, не смотрели на ботинки? Я не червонец, чтобы всем нравиться, как говорил мой отец, я не честолюбив... Но я самолюбив и совестлив – заставлять людей скучать не люблю... Так что одно имею в виду для вечера: не заставлять скучать.

– А вы, И.А., очень волнуетесь, читая на своих вечерах? Ведь все на эстраде, на сцене волнуются...

– Еще бы! Я юношей видел в "Гамлете" знаменитого в ту пору на весь мир Росси и в антракте получил разрешение войти к нему в уборную: он полулежал в кресле с обнаженной грудью, белый как полотно, весь в огромных каплях пота... Видел тоже в уборной, знаменитого Ленского из московского Малого театра в совершенно таком же положении как Росси... Видел за кулисами Ермолову – имел честь не раз выступать с ней на благотвор. литературных вечерах: если бы вы знали, что делалось с ней перед выходом! Руки трясутся, пьет то валерьяновые, то гофмановские капли, поминутно крестится... Кстати сказать, читала она очень плохо – как почти все акт. и актрисы...

– Как! Ермолова!

– Да, да! Ермолова. Что до меня, то, представьте, я – исключение: и за кулисами и на эстраде спокоен. "Не нравится – не слушайте!" В молодсти я на эстраде краснел, бормотал – больше всего от мысли, что ровно никому не нужно мое чтение, – и даже от какой-то злобы на публику. Совсем молодым я однажды был участником литературно-муз. вечера в огромнейшем зале в Петербурге и знаете, вместе с кем? Вы не поверите! С самим Мазини, который, хотя был уже далеко не молод, но был еще в великой славе и чудесно пел неаполитанские песни! И вот, вылетел я на эстраду после него, – вы понимаете, что это такое: после него? – подбежал к самому краю эстрады, глянул, – и уж совсем обмер: на шаг от меня сидит широкоплечий, с широким переломленным носом сам Витте и крокодилом глядит на меня! Я забормотал как в бреду, облился горячим и холодным потом – и стрелой назад, за кулисы... А теперь я пожалуй не смутился бы даже под взглядом... ну, придумайте сами, под чьим взглядом...

## У И. А. БУНИНА

Иван Алексеевич встретил как всегда приветливо и на вопрос, как он себя чувствует теперь, после тяжелой болезни, перенесенной им в конце лета, ответил бодро:

– Ничего, теперь, слава Богу, поправился. А то совсем было помирал и очень досадовал, думал: сколько еще интересного будет впереди, конгрессы, забастовки, войны, – а ты помрешь и ничего не будешь знать, потому что в Сент Женевьев дю Буа всегда все мирно, спокойно, радио нет, соседи покойники не разговорчивы... Теперь, как видите опять затеял вечер. Давно ли, кажется, был мой вечер прошлогодний, а вот уже опять октябрь и день моего рождения! Невольно вспомнишь мудрую строчку поэтессы Присмановой: "Зачем так быстро время воду возит!".

– Вы, И.А., будете читать свои литературные воспоминания?

– Да, кое-что автобиографическое. Ведь 23 октября есть день моего рождения, вот я и решил угостить всех тех, кого приглашаю в этот день к 9 часам вечера в Русское Музыкальное Общество, 26, авеню Нью-Йорк, угостить отрывочными рассказами о своей писательской жизни, за невозможностью приветствовать их шампанским.

Чем богат, тем и рад, как говорится. А ведь все мое богатство состоит теперь только в воспоминаниях – вот-вот исполнится целых 15 лет с того времени, как получил я Нобелевскую Премию, которую, конечно, успел уже прожить. Что, по-моему, довольно естественно, хотя многие в эмиграции, даже и миллионеры, с негодованием дивятся такой моей расточительности. "Подумайте, ухлопал в каких-нибудь 15 лет чуть ли не миллион!", говорят они, забывая, что ведь я, так сказать, потомственный мот, будучи родом из дворян, которые, как известно, все промотали свои "Вишневые сады", – не промотал один только "Дядя Ваня", за что и обещано ему "небо в алмазах"...

– А к какому именно периоду вашей писательской жизни, И.А., относятся воспоминания, которыми вы хотите поделиться с вашими будущими слушателями?

– О, ко всем периодам. Начиная с моей мирной юности и кончая теми годами, когда "Буревестник, черной молнии подобный" зареял уже не над "седой пучиной моря", а над Невой и Москва-рекой. Наша судьба, вообще, уже давно была связана с птицами, как справедливо сказал когда-то Дон-Аминадо. Вспомните-ка в самом деле, каким страшным успехом пользовались у нас "Соколы и Вороны", "Песнь о соколе", альбатросы, кречеты, "Синяя птица", "Умирающий лебедь", "Дикая утка", – и "Чайка". "Чайка"! Вообше, я о многом буду говорить – между прочим и о пьесах Чехова и о Художественном Театре. О чем еще? Этого я вам не скажу...

---

*В порядке постскриптума, хочу добавить еще несколько слов о заглавии книги, за которое кое-кто будет упрекать меня в "несерьезности". Оно было мне продиктовано тем, что книга составилась без всякого плана, это лишь показания свидетеля, ни на какую научность не претендующие. И еще тем, что бо́льшую часть времени, которое я проводил с Буниным с глазу на глаз, как в Грассе, так и в Париже, он неизменно оставался в своем стареньком халате мышиного цвета.*

## 2. ФАКСИМИЛЕ И.А. БУНИНА

**Некоторые письма А.И. Бунина ко мне были написаны на обороте корректурных оттисков. Привожу две последние такие страницы рассказа "Натали", вошедшего в книгу "Темные аллеи", дающие представление о тщательности, с которой работал Бунин над своими произведениями.**

(А во всем-то длинном, темном, шелковистом блес...

[illegible] пестро и таинственно. И она подошла къ окну...

таинственно, [illegible] неслышно [illegible]

[illegible] меня обс... сердце [illegible]

Потомъ мѣсяцъ сіялъ [illegible] уже надъ садомъ и смотрѣлъ въ павильонъ, и мы по очереди говорили — она лежа на постели, я на колѣняхъ возлѣ и держа ея руку:

— Въ ту страшную ночь съ молніями я любилъ уже только тебя одну, никакой другой страсти, кромѣ самой восторженной и чистой страсти къ тебѣ, мнѣ уже не было.

— Да, я со временемъ все поняла. Но ранена я была все таки смертельно, и когда вдругъ вспоминала эти молніи тотчасъ послѣ вспоминанія о томъ, что за часъ передъ тѣмъ было въ аллеѣ...

— Нигдѣ въ мірѣ нѣтъ тебѣ подобной. Когда я далеча смотрѣлъ на эту зеленую чесучу и на твои колѣни подъ ней, я чувствовалъ, что готовъ умереть за одно прикосновеніе къ ней губами, только къ ней

И вотъ я только то касался и мнѣ того самаго сокровеннаго твоего, о чемъ прежде даже думать не могъ безъ сердечной дрожи! — Все это теперь ~~уже~~ ~~[illegible]~~ твое навѣки. Ты никогда, никогда не забывалъ меня всѣ эти годы?
— Забывалъ только такъ, какъ забываешь, что живешь, дышишь.
~~И ты прежде~~

~~[illegible]~~ сказала: нѣтъ несчастной любви. Ахъ, эта твоя оранжевая распашенка и вся ты, еще почти дѣвочка, мелькнувшая въ ней въ то ~~[illegible]~~ утро, первое утро всей любви къ тебѣ! Потомъ твоя рука въ рукавѣ малороссійской сорочки. Потомъ наклонъ твоей головы, когда ты читала "Обрывъ", и я бормоталъ: "Натали, Натали!"

— Нѣтъ, ты сказалъ это не тогда.

— А потомъ ты на балу — такая высокая и такая ~~[illegible]~~ страшная въ своей уже ~~[illegible]~~ женской красотѣ, ~~и было [illegible]. И ночь, и [illegible]~~ ~~[illegible]~~ — Какъ хотѣлъ я умереть въ ту ночь въ восторгѣ своей любви и гибели! Потомъ ты со свѣчей ~~[illegible]~~ въ рукѣ. Мнѣ казалось, что свята стала та свѣча у твоего лица ~~[illegible]~~.

— Да, да. И вотъ, ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видѣться мы будемъ рѣдко — развѣ могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всѣхъ любовницей?

Въ декабрѣ она умерла въ Клярансѣ въ преждевременныхъ родахъ.

4.IV.41

~~Приморскія Альпы~~

~~Ив. Бунинъ~~

3.

*Ivan Bunin*

**MITIAS KÄRLEK / LIVETS BÄGARE**

Милой, дорогой, маленькой
Кирсти — [illegible]
от автора.

Ivan Bunin
Paris 2. XI. 1953 г.

Последняя надпись И. А. Бунина на книге, – на вышедшей на шведском языке "Митиной любви". Надпись сделана моей жене.

А. Бахрах

## 4. ПИСЬМА И. А. БУНИНА АВТОРУ КНИГИ

У меня сохранилось довольно много писем И. А.Бунина ко мне, – привести их все не представляется возможным уже по недостатку места. Поэтому привожу в этой книге лишь некоторые из них.

1. *7. Х1. 29*

*Дорогой мой Аля Васильевич,*

*Коробочку берлинского лекарства от Вас уже давно получил – и больше прошу ничего не высылать. Спешу Вам написать только это да поблагодарить за милое письмо, которое всем нам очень понравилось, да сердечно обнять Вас.*

*Ваш Ив. Бунин*

P. S. *Еще одно слово: так как советами моими Вы "врядли", по Вашему признанию, воспользуетесь, сделайте милость – попросите от меня Вашего папу и прочих родных высечь Вас на всякий случай: а вдруг хоть это подействует? Жалко мне Вас и до сих пор ужасно.**)

*) Телесное наказание относится к моему тогдашнему неосуществившемуся проекту женитьбы. Бунин очень его тогда не одобрял.

2. *(Тридцатые годы)*

*Дорогой Александр Васильевич, простите – увожу Вашу книгу (роман Сирина) с собой – буду читать в дороге. оч. заинтересовался. Вышлю Вам ее из Грасса зак. банд. Привет Вам всем.*

*Ив. Бунин*

3. *Грасс, 23 Х1. 40*

*Дорогой мой, где Вы повесили мое легенькое желтое пальто? Не могу найти. А жарко, мне нечего надеть.*

*Пришел пакет с Вашими вещами.*

*Целую Вас,*

*Поклон милому Левину**)

*Ив. Бунин.*

*) Левин – мой приятель, у которого я тогда ночевал, приезжая в Ниццу и с которым познакомился И.А.

4. *Вечер 30 окт. 1944 г.*

*Дорогой бывший домочадец, получили 2 Ваших письма из Марселя – "страданья молодого Вертера"! Надеемся, что Вы уже в Париже и ждем вестей с нетерпением. У нас такая дикая, страшная погода, какой еще на свете не бывало; идут демонстрации, собрания, – на одном из которых Зуров произнес речь по-французски! – было вчера великое (великий)?* defilé *с красными флагами, -- будто бы 2000 кр. флагов, по восторженным словам Зурова, – вот и все наши новости, если не считать письма от моего, е.е.и., сукина сына квартиранта Графа, сообщившего мне, что он был в мэрии и что мэрия ему* "разъяснила", *что он имеет право покинуть квартиру 1-го Апреля. Как Вам это нравится? От Михайлова до сих пор ни звука! Конечно, к великому моему горю, в Париж, очевидно, ехать нельзя еще очень долго, но все же я в отчаянии и взбешен. Ах, сукин сын! "Разъяснила"! Я ему написал, этому Графу*[1] */отцу – Георгий Граф/: "Многоуваж. г. Граф,* весьма *удивлен, что Вы обратились по нашему делу в мэрию, которая Вам "разъяснила" это дело, тогда как оно и без мэрии вполне ясно: Вы заняли квартиру* с обязательством *передо мною и П.А. Михайловым*[2] *оставить ее по первому моему требованию через некоторый срок: зачем же Вы трудились спрашивать мэрию, когда именно Вы должны оставить ее? Теперь снова даю Вам от сего 24 октября двухмесячный срок для приискания себе другого жилища. Если Вы и после сего будете держаться "разъяснения" мэрии, а не своего обязательства, я постараюсь найти способы, чтобы Вы исполнили его. С почтением, Ив. Бунин".*

---

[1] Граф – не титул – а фамилия жильца, которому на время войны Бунины через посредство Михайлова сдали свою парижскую квартиру.

[2] Профессор Михайлов -- старый друг Бунина еще по Одессе. В Париже занимался антикварными делами.

*Что мне с ним сделать? У Михайлова должен быть договор с этой стервой — пожалуйста зайдите к нему, посмотрите этот договор. Зайдите и к* M-lle Imbert, *поговорите с ней. Вам открытка от Кругликовой* —7 Rue Anatole de la Forge. *Очень хочет Вас видеть. "Боречка"*3) *увезен, неизвестно, где он. Целую. Ив. Бунин*
(сбоку) *Что с Лялей, Лялей?*4) *В.Н. все плачет.*

3) "Боречка" — муж нашей общей приятельницы Кругликовой, погибший в одном из нацистских лагерей смерти.
4) "Ляля" — Ляля Жирова, которую В.Н. неизменно опекала.

5.

*11.X1. 44*

*Получили 2 Ваших парижских письма, дорогой мой. Спасибо, — письма во всех отношениях очень хороши — правда, правда. Ждем дальнейших — где Вы будете и что с Вами будет. Вера Ник. просит Вас написать обо мне в Америку — положение мое поистине ужасное в смысле денег! Жду помощи и известий о моей книге, которую должен был издать там Цвибак. Очень тронут, что заботитесь о Ляле.*

*Целую. Ваш Ив. Б.*

6.

*28. X1. 44*

*Что же это такое, дорогой мой, — второй месяц пошел, как Вы уехали и вот уже месяц ни слуху ни духу от Вас! Где вы, что с Вами? Отправили ли мои открытки в Англию? Написали ли Толстой в Америку? (Дела мои прямо ужасны!)*

(Следует тогдашний адрес Александры Львовны в Америке).

*Напишите Алданову на Шуру :* (следует адрес г-жи Прегель).

(Сбоку) *Завтра еду в Ниццу!! Год не был!! С Капитаном — конец!*

"Капитан" — давняя кличка писателя Н. Я. Рощина.

7.

*14.X11.44*

*Получил Ваше письмо, дорогой мой, — не могу сейчас ответить — жар и дикий насморк. Пишу только просьбу — пожалуйста, поскорее узнайте и напишите мне адрес Марка Александровича — узнайте у Полонских (которые почему-то нам ни слова!): я получил телеграмму от него и от М.О. Цетлина — просят не медля выслать рассказы для "Нового Журнала", но адреса не дают. Целую и очень прошу: сообщите поскорее!*

*Ваш Ив. Бунин*

*Есть ли уже авионы Франция-Америка? Или:* Paris —New York?

8.

*Дорогой мой, всетаки надо найти способ отправить Марку Алекс. те три рассказа, что у Павла Александр. Михайлова: ведь я* Prix Nobel, – *м.б. в американск. посольстве дадут разрешение отправить их? Пожалуйста, пожалуйста, устройте что-нибудь. Во всяком случае, познакомьтесь с Михайловым. Вы можете быть друг другу полезны вообще. Его адрес:* 8, Rue André Bruneau, Paris 16, *телеф.:* Aut 71 -43.

*Обнимаю. Ив. Б.*

(Сбоку) *Где А.* Gr. de? *Сообщите мне адрес Полонских.*

9.

*25. 1. 45*

*Дорогой Захар, уже давно, давно получено Ваше письмо уж не помню от которого числа. С тех пор Вы опять точно сквозь землю провалились. Не ответил Вам сразу и не отвечал и потом, ибо я совсем никуда уже месяца 1-1/2: все болевая точка где-то справа – не то в печени, не то ниже, и слабость, и что- то противное во вкусе (м. б. от мерзкой пищи – у нас еще никогда, кажется, не было так скверно в отношении еды). Январь лютый – холод, снег. С 29-го декабря обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Ник., Зурова вижу раз в неделю, случайно встретясь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем во веки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей Вашей (наверху) – выскакивает, как бешеная собака: "Где мой хворост?" – "Не знаю". – Вы сейчас взяли и заперли на замок!" – "Не брал". – "Нет, взяли!" – "Что же мне божиться, что-ли?" – "А что ж Вам стоит побожиться! Вы нахал!" – "Вы с ума сошли?" – "Вы жук, Вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого учились! У Чехова, у Толстого?" и т.д. Я остался на этот раз совершенно спокоен – даже отпер комнату и показал ее, – хворост был не его, – спокойно и ушел, но уж довольно с меня наконец! Был у* Colomban'a *он меня осматривал, сказал, что надо съездить в Ниццу, сделать радиографию. Но денег у меня на это нет. Целую.*

*Ваш – Илья Ильич Обломов*

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## КНИГИ

## ТОВАРИЩЕСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ:

| | | |
|---|---|---|
| Г. Андреев | – | Трудные дороги |
| Л. Ржевский | – | Двое на камне |
| Виктор Свен | – | Бунт на корабле |
| Борис Зайцев | – | Тихие зори |
| Федор Степун | – | Встречи (два издания) |
| Анна Ахматова | – | Реквием (три издания) |
| А. Позов | – | Логос-медитация древней церкви |
| Мих. Булгаков | – | Иван Васильевич<br>Мертвые души |
| Л. Ржевский | – | Через пролив |
| Виктор Свен | – | Уже пора |
| Юрий Джанумов | – | Стихи |
| "Мосты", альманах | – | №№ 11, 12, 13/14, 15 |
| "Мосты", сборник | – | к 50-летию революции |

COMPOSED BY VICTOR SKORNIAKOFF ARTWORK
P.O. BOX 10751, ST. PETERSBURG, FLA. 33733